

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА  
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;  
А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;  
В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;  
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССИЯ — ROBSIA»;  
В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;  
З. ГИППИУС «Последние стихи»;  
В. ЕРОФЕЕВ «Попугайчик».

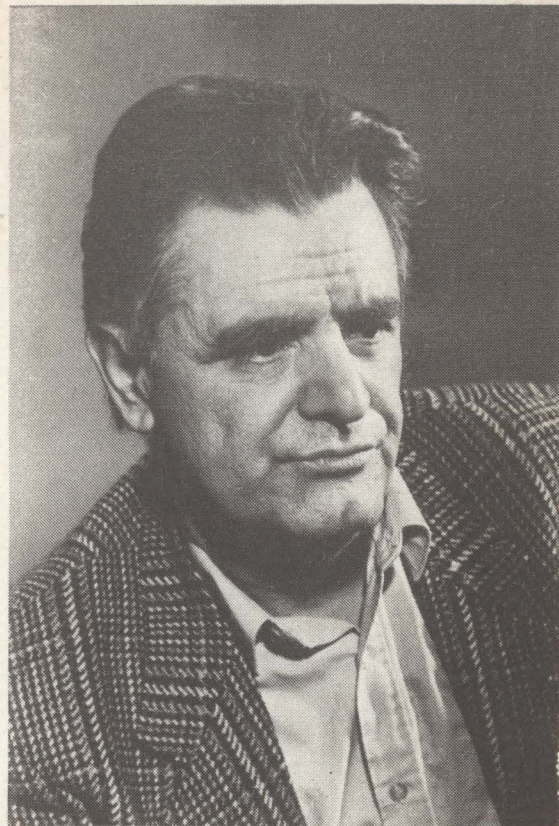
ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонек», 1991. № 34. 1—64.

**БИБЛИОТЕКА**

**ОГОНЕК**

**МОСКВА**

ISSN 0132-2095



*Фазиль ИСКАНДЕР*

**ПОЭТЫ И ЦАРИ**

№ 34 1991

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 34

Издается с января 1925 года

Фазиль ИСКАНДЕР

## ПОЭТЫ И ЦАРИ

Москва. 1991

## Фазиль ИСКАНДЕР

*Родился в Сухуми в 1929 году. После школы поступил в Московский библиотечный институт. Ушел с третьего курса. Окончил Литературный институт.*

*Таковы «анкетные данные» Фазилия Абдуловича Искандера — известного русского прозаика.*

*Прозаик начинал как поэт. Первая книга стихов вышла в 1957 году. С тех пор выпустил несколько поэтических сборников и ряд прозаических книг. Рассказы, повести, роман переведены на многие иностранные языки.*

*Среди самых известных произведений Фазилия Искандера — рассказы о Чике, повести «Созвездие Козлотура» и «Стоянка человека», роман «Сандро из Чегема».*

*В его прозе счастливо соединились русская классическая традиция и национальный колорит Кавказа; история семьи и история общества; сатирический талант и высокий трагический дар.*

*Публицистика Ф. Искандера (к этому жанру автор все чаще обращается в последнее время, в том числе на страницах «Огонька») — продолжение художественных размышлений о природе человека, о природе творчества, о природе государства. Интеллектуальная мощь и чувство внутренней свободы — залог успеха этой публицистики, столь необходимой для поддержания нравственного здоровья общества в смутные времена.*

## ПИСЬМО ДРУЗЬЯМ

В последний год я все чаще получаю письма от своих читателей, которые по нашей давней российской традиции надеются услышать от писателя ответ на мучающие их вопросы: куда мы идем? Откуда этот хаос? Откуда националистическая ярость? Что делается в моей Абхазии? Что даст разьединение народов?

Я сам мучаюсь этими вопросами и знаю, что однозначного ответа нет. Однако попробуем разобраться и, может быть, придем к каким-нибудь выводам.

Что надо человеку? Ему нужна крыша над головой, то есть приличное жилье. Ему нужна опрятная старость родителей и ему нужен беспечный смех собственных здоровых детей.

Когда эти два фланга начинающейся жизни его детей и кончающейся жизни его родителей в достойном состоянии, зрелый человек может жить и работать с полной отдачей сил. Но и это не все. Нормальному человеку присуще желание понять состояние окружающего мира и, прежде всего, собственной Родины. Это есть гражданское, патриотическое чувство. И здесь, если перед нами нравственно здоровый человек, даже будь он не слишком грамотен, он изо всех сил пытается понять, куда идет его родина — к добру и процветанию или к хаосу и разрушению.

Перестройка, то есть возвращение к жизни нормального правового государства, не только была необходима, но она трагически запоздала. Хотя, я верю, шанс еще есть. Насколько запоздала перестройка? Отнимите от даты начала перестройки дату смерти Сталина и вы узнаете, насколько она запоздала.

Лет двадцать назад, когда закрывали «Новый мир» Твардовского, я дал телеграмму на имя Косыгина. Я писал, что журнал закрывают за то, что он мыслит. Я писал, что не всякая критика — мысль, но всякая мысль — критика. Общественная мысль не может существовать вне критического контекста.

То, что я послал телеграмму на имя Косыгина, означало, что надоело подписывать письма, обращенные в ЦК. Там на такого рода письма

или не реагировали или заставляли замолкать, оказывая экономическое давление.

Однако вызвали меня все-таки в ЦК, а не в канцелярию Косыгина. Товарищ, который, кстати, вполне доброжелательно со мной спорил, утверждал, что все дело в том, что я не знаю статей по сельскому хозяйству, которые пытались печатать в «Новом мире», но цензура их останавливала. Моле, если бы я знал эти статьи, не стал бы посылать такой телеграммы. Я отвечал ему уже с полным знанием дела, что наше сельское хозяйство в катастрофическом состоянии. Он в ответ разъяснил мне, что партия об этом прекрасно знает и в самое ближайшее время будут приняты самые надлежащие меры.

Один из двух мирных способов спора аппарата с критикой. Первый способ: вы поете с чужого враждебного голоса. И второй еще более мирный способ: да, вы правы, но опоздали. Партия обо всем этом хорошо знает и вот-вот все исправит.

К чему я сейчас это вспоминаю? Я абсолютно уверен, что в самый первый год перестройки было совершенно необходимо и вполне возможно издать закон о раскрепощении крестьян. И будущих фермеров, и тех, что остаются в колхозе. Когда спасают тонущего, не собирают данные о собственном здоровье и моральном облике тонущего. Тонущего надо спасать сразу, а мы уже тогда были в состоянии тонущей страны.

Принципиально и навсегда этот вопрос можно было решить сразу, а те или иные уточнения вносить по ходу дела. Болтовня о том, что вопрос этот слишком сложный, что его надо очень долго продумывать, — очередная уловка аппарата для того, чтобы сохранить свою власть над людьми.

Рассказывая анекдоты о глупости великих аппаратчиков (если б они не соответствовали правде, анекдоты не были бы смешны), мы забываем, что аппарат необычайно хитер и коварен. Точно так же мы в глупом человеке не подозреваем возможности огромной хитрости и часто становимся жертвой ее.

Каждый ум приспособляется к жизни доступными ему средствами. Слабый ум развивает в себе возможности хитрости и чем он слабее, тем сильнее хитрость. Простодушный дурак — явление редкое и именно потому люди издавна кивают на него: вон дурак идет. Можно подумывать, что кругом одни умные.

Само собой разумеется, что есть умные аппаратчики, но они или скрывают свой ум и он, в конце концов, усыхает, или деформируют его в хитрость. В тоталитарном государстве умный аппаратчик живет в состоянии шизофренически разорванного сознания. Он никак не может соединить обидчивость генеральной линии с иронией жизни. Он постоянно насторожен, опасаясь перепутать места, где можно быть умным, а где нельзя.

В этой связи мне вдруг вспомнилось знаменитое «Завещание Ленина». В нем есть одна особенность, кажется, еще не замеченная никем.

Ленин, давая характеристики вождям, говорит об их положительных и отрицательных качествах.

Странно, что давая характеристику Сталину, он пишет только об его отрицательных чертах. В то же время из самого контекста безусловного следует, что есть и положительные свойства.

С одной стороны, положительные свойства явно есть, иначе чего бы так церемониться с ним; а с другой стороны, называть их как-то неловко, что ли... Странно, есть над чем подумать историкам. Не менее странно и определения отрицательных свойств: груб, капризен. Что-то в этих определениях есть гимназическое. Вероятно, имелось в виду: деспотичен, вероломен... А как он, бедняга, перепрыгивал «Завещание» из рук, кажется, одной шпионки Сталина в руки другой. А ведь лучший способ сохранить рукопись — это напечатать ее, тем более в свободной социалистической прессе. Ах, да! Сам же закрыл... Да, аппарат. Он уже был готов. Готов вообще и готов на все.

В наше время, пожалуй, самой страшной уловкой аппарата является манипулирование национализмом, великой человеческой слабостью.

Национализм гнездится в глубинах человеческого сознания и внезапно вспыхивает с яростной силой. Я уже как-то писал об этом атавистическом племенном сознании. Приходится признать, что мы еще недостаточно люди, чтобы видеть в другом человеке, плохом или хорошем, абсолютную личностную ответственность за себя.

Если нас обидел человек другой национальности, нас так и тянет утолить обиду, выдав низость обидчика за коренное свойство его народа: известное дело — рабы, известное дело — мошенники, известное дело — конокрады.

Хотя, казалось бы, такое обобщение снижает или даже снимает личную ответственность человека, обидевшего нас, однако, такое обобщение почему-то утоляет наше племенное чувство. Надо признать, что мода на одежду в истории человечества все еще гораздо короче моды на шкуры. Впрочем, и мода на шкуры сохранилась.

Но почему именно двадцатый век, век грандиозных научных успехов, стал и веком страшного национализма? Я думаю, по той же причине, по которой двадцатый век стал веком тоталитарных режимов.

В ходе цивилизации огромное количество полуграмотных людей приобщилось к политической жизни. В двадцатом веке это количество действительно перешло в качество. Масса людей, потерявших основы тысячелетней народной этики и не усвоивших общекультурную этику, почувствовали возможность влиять на политику, а если повезет, и выскочить в правящую элиту. На плечах этой новой черни и могли подняться такие деятели, как Сталин, Гитлер, Муссолини.

Люди, когда-то говорившие о вреде всеобщего образования, были не так уж глупы, хотя выглядели реакционерами. Я думаю, лучшие из них, по крайней мере, были озабочены не своими эгоистическими интересами, а пониманием достаточно долгого и опасного межумочного со-

стояния огромного количества людей, оторванных от народной этики и не усвоивших общечеловеческую.

В наше время пропаганда вообще и пропаганда прогресса в особенности порождает в человеке чувство дурного историзма, чувство быстро меняющегося мира. Отсюда: неустойчивость, взвинченность, азарт. Поешь! Поешь! Поешь! Не поспеешь за прогрессом, хоть поспеешь к погрому.

В условиях высокопроизводительной пропаганды и непроизводительной жизни этот бег на месте в течение семидесяти лет породил в людях чувство обделенности, чувство украденной судьбы.

Как утешительно думать, что какие-то злонамеренные люди, живущие между нами, мутят и мутят нашу жизнь. И уже размножается микроб национализма: надо во что бы то ни стало выделить этих людей, но по какому точному признаку, чтобы не ошибиться? Нация! Вот признак, по которому не ошибешься. В разных концах страны разные мальчики для битья.

Национализм в человеке оскорбителен, даже если он никак не задевает ни лично тебя, ни твой народ. Дело в том, что всякий нормально мыслящий человек, даже не задумываясь об этом, всегда исходит из того, что истина универсальна. Мысль не стоила бы того, чтобы мыслить, если бы она не была общечеловечна.

Именно поэтому национализм нелеп, как геометрия для блондинов. При этом, продолжая образ, можно сказать, что если ты брюнет и критикуешь блондина, долженствующего знать геометрию, он отвечает тебе, что геометрия вообще не вашего ума дело, это наука для блондинов. Но национализм так же выгоден и брюнету, долженствующему знать геометрию и не знающему ее, ибо он в этом случае отвечает, что для нас это вообще не наука. На определенном этапе взаимонеприятие националистами двух наций друг друга взаимовыгодно. Каждому есть куда сбросить шлак отрицательных эмоций.

Хотя всякий национализм омерзителен, можно выделить два вида национализма: наивный и идейный.

Наивный национализм свойственен людям малограмотным и одновременно глупым. Такой человек искренне уверен, что его народ превосходит соседний народ. Например, он чувствует удивительную точность пословицы своего народа. Он чувствует ее уникальность. По приметам быта этой пословицы он понимает, что такой пословицы у соседнего народа не может быть. Значит, мы выше.

Но плохо зная жизнь соседнего народа, он не понимает, что там своя жизнь, свой быт и своя уникальная пословица. И так во всем. Наивный националист воспринимает жизнь своего народа как более утонченную и духовно богатую.

Можно представить такой разговор в яранге какого-нибудь северного народа. Попыхивая трубками, два умудренных жизненным опытом рыбака разговаривают.

— Я слышал,— говорит один,— что есть такой большой народ немца. Он никогда не пробовал свежей тюленины.

— Бедная немца,— отвечает второй, одновременно жалея немцев и чувствуя свое гастрономическое превосходство над ними.

Идейный националист — это прирожденный человеконенавистник и честолюбец. Честолюбие может быть следствием человеконенавистничества. Отдав ненависти все свои силы и душевную энергию, он может мечтать о славе как о справедливом вознаграждении.

Ни один природный человеконенавистник не признается самому себе, что он человеконенавистник вообще. Для этого требуется огромная философская смелость.

Человеконенавистник подсознательно сосредоточивает свою ненависть к другой нации или расе, если она рядом. Или к другому классу, но тогда это революционный человеконенавистник. Технологичность ненависти одна и та же, но мы сейчас говорим о националистах. Человеконенавистник потому и человеконенавистник, что как бы он ни сосредоточивал свою ненависть к другой нации, он не может удержать себя от вспышек ненависти к соплеменникам. И тогда он эти вспышки объясняет тем, что эти соплеменники якобы тайные прислужники врагов его народа. Так и революционные человеконенавистники, уже победив, стали набрасываться друг на друга, объясняя это тем, что они имеют дело с тайными врагами победившего класса.

Небольшие, неопасные дозы национального предрассудка, подобно разговору о бедных немцах, не пробовавших свежей тюленины, живут в любом народе. Но когда в обществе созревает критическая ситуация, идейные националисты легко могут поднять этих людей на кровавые необузданные действия.

Почему же это все началось у нас во время перестройки?

Образовалась кризисная ситуация, когда деспотическое государство отказалось от деспотической формы правления, но не выработало демократических структур правления. Люди почувствовали вакуум беззакония и ринулись в него.

На практике получилось, что государство отказалось от собственной деспотии в пользу деспотии толпы. Какими бы благородными замыслами ни вдохновлялись поборники нашей демократии, похоже, что аппарат или часть аппарата тихо перехватил инициативу и отдал власть во многих местах страны озверевшей толпе. Для чего? Для того, чтобы окровавленный, сломленный народ приполз к его ногам: правь по-старому! Лучшее беззаконие государства, чем беззаконие улицы!

Сумгаитские погромы и застенчивый суд над погромщиками полностью это доказывают. Цепная реакция не замедлила сказаться: Средняя Азия, Абхазия, Баку.

Остановлюсь подробней на абхазских делах, о которых, естественно, знаю лучше всего. Во второй половине девятнадцатого века Абхазия пережила великую национальную трагедию «амхаджирство», то есть на



сильственное переселение в Турцию. Судя по всему, в тогдашней Абхазии все еще оставались последние очаги сопротивления царизму.

Абхазия была краем, хотя и разделенным морем, но приграничным с Турцией, в те времена традиционно враждебной России. Так же как и Россия в те времена была традиционно враждебна Турции.

Власти предложили абхазцам или переселиться на кубанские степи, или покинуть пределы Российской империи. Примерно три четверти абхазцев и все убыхи (одно из абхазских племен, живших западнее Абхазии) покинули родину и уехали в Турцию. Многие оттуда разбрелись по всей Малой Азии.

Конечно, главным виновником этой трагедии является царское правительство, но тут, я думаю, совиновниками являются и абхазские князья, которые обязаны были проявить гуманистическую гибкость и найти, подчиняясь ходу истории, общий язык с царской властью ради сохранения своего народа.

Однако этого не случилось. Абхазия опустела. Так писали в те времена тифлиские газеты. В частности, генерал Лазарев гадал, кем заселить опустевшие земли Абхазии, мингрельцами или русскими, чтобы они положительно воздействовали на оставшихся виновников «виновного народа». Тогда была такая формула. Кстати, позже Николай Второй снял с абхазцев этот странный выговор, снял за неучастие абхазцев в волнениях 1905 года.

После революции судьба абхазского народа в принципе ничем не отличалась от судеб остальных народов, но во второй половине 30-х годов бериевская администрация начала усиленно грузинизировать Абхазию.

Все это происходило на глазах моего поколения, и я все это видел своими глазами. Все — от насильственного переселения грузинских крестьян в Абхазию (они, бедняги, пытались бежать, но милиция водворяла их на отведенные участки) до закрытия абхазских школ в 1945 и 1946 годах.

Чтобы сегодняшняя молодежь почувствовала атмосферу тех лет, расскажу такой случай. Я гостил в Очамчири у своей двоюродной сестры, у которой муж грузин. Таких браков в Абхазии много и это делает особенно драматичной судьбу этих семей. Так вот, на вокзал меня провожал ее десятилетний сын. Когда мы стали приближаться к вокзалу, он явно заволновался и обратился ко мне:

— Не надо говорить по-абхазски. Давай говорить по-русски.

— Почему, Гиви?

— Дети надо мной будут смеяться.

Пораженный, что в Очамчири дело зашло так далеко, я рассказал об этом случае своей деревенской тетушке. Во время моего рассказа она вдруг стала смеяться и кивать головой.

— Чего ты смеешься? — спросил я.

— Да как же мне не смеяться,— говорит она,— когда он меня тоже провожал на вокзал и сказал то же самое. А я ему говорю: «На каком же языке я буду с тобой разговаривать, я никакого другого языка не знаю».

Об этом я пишу не для того, чтобы сентиментальничать, а для того, чтобы раз и навсегда сказать это для тех, кто не знает, что было.

Разумеется, в те годы удушающая атмосфера была везде, но в Абхазии она была дополнительно удушлива по национальному признаку. Но я всегда говорил и повторяю: нельзя путать действия администрации с народом, который она якобы представляет, хотя ничего общего с ним не имеет.

После смерти Сталина и расстрела Берия абхазские школы были открыты и кое-какие кадры интеллигенции выщедили на просторы нашей необъятной страны. Рана, нанесенная жестокими событиями тех лет, стала затягиваться.

Кстати, несколько лет назад я получил открытое письмо от Звиада Гамсахурдиа, где он напоминает мне о том, что я говорил корреспонденту «Шпигель». А говорил я о закрытии абхазских школ бериевской администрацией. Гамсахурдиа удивлен и возмущен этим моим утверждением, ибо, по его мнению, никаких абхазских школ тогда не было и поэтому нечего было закрывать. Но еще живы тысячи абхазцев, учившихся в этих школах. Может, стоит у них спросить?

Если лидер современной (демократической?!) Грузии ничего действительно не знает об этом, то что можно требовать от молодежи, которая слушает телепередачи и читает десятки статей, лишенных всякой объективности и подхлестывающих национальные чувства.

Да, рана начала затягиваться, но тут, уже не помню в каком году, это было при Хрущеве, появляется книга историка Ингороква, доказывающая, что абхазцы появились в Абхазии всего триста лет назад. Помню, как взбурлила вся Абхазия. Казалось бы, что простым людям до фантазии какого-то историка? Но народ слишком хорошо помнил, что было совсем недавно, и не без основания воспринял эту книгу как продолжение той же политики.

К сожалению, в связи с последними кровавыми столкновениями в Абхазии, некоторые грузинские публицисты повторяют эту глупость, противоречащую прежде всего исследованиям самих грузинских историков, когда они еще свободно могли излагать свои взгляды.

Мол, триста лет назад (иногда двести) приютили абхазцев, переваливших через Кавказский хребет и как бы вывалившихся на братски протянутые руки. А они, мол, нам отвечают черной неблагодарностью.

Зачем обманывать молодежь? История Абхазии и Грузии то сплеталась, то расплеталась — это обыкновенная история всех соседских народов мира. Абхазцы, как и грузины, с незапамятных времен живут на своей земле.

Когда-то было абхазское царство, потом, при царице Тамаре, оно вошло в Грузию. Царица Тамара своего сына Георгия Четвертого назвала Лаша, то есть по-абхазски Светлый. По дошедшим до нас легендам она любила отдыхать в Абхазии и лечилась, может быть, от бездетности на наших водах. Если абхазцы только через пятьсот лет после царицы Тамары вывалились из-за Кавказского хребта на братски протянутые руки, то как она догадалась, что это должно случиться, и как узнала, что по-абхазски Лаша это Светлый?

Конечно, дело обстоит гораздо проще. Царица Тамара, бывая в Абхазии, была окружена абхазской речью, той самой речью, на которой мы сегодня говорим. И, видно, речь эта ей по какой-то причине нравилась, и она так назвала своего сына.

Прямо-таки не знаясь, как быть. Историк Ингорква не ведал о происхождении имени сына царицы Тамары, а крупнейший, после известных политических деятелей Грузии, наш современник Звиад Гамсахурдиа не знает, что в 1945 году были закрыты абхазские школы. И при этом посылает грузинам, живущим в Абхазии, суровые инструкции, не понимая, что содержание их, никак не способствующее дружбе народов, становится легко доступным абхазцам. Пока еще, слава Богу, военный шифр не выработан.

Сегодня в Абхазии многие, слишком многие считают, что дело зашло далеко, надо отделяться. Конечно, такой вопрос может решить только все население Абхазии. Впрочем, это вопрос мучительный. При сегодняшнем накале страстей Абхазия может превратиться в новый Карабах. И тогда конец едва дымящемуся очагу мирной жизни.

Можно и должно добиваться практической самостоятельности и в рамках автономии, если ее наполнять живым содержанием, если гибкую, сильную волю к добру проявить с обеих сторон.

Надо создать новую психологическую атмосферу, надо создавать новые демократические структуры управления, дожидаться их работы, и тогда сама жизнь покажет, что делать дальше.

А сегодня, пока не поздно, надо проявить взаимное благородство, отбросить старые обиды и начать жизнь с чистого листа. Все народы на протяжении долгих лет истории наносили друг другу обиды, но потом находили силы забыть их. Только безумные честолюбцы и преступники жаждут вражды. Первые хотят прославиться, а вторые надеются, что за общей свалкой забудут об их преступлениях.

Надо обратиться к спасительному народному юмору, который всегда помогал выкарабкиваться из самых мрачных пропастей. Надо не поддаваться индюшачьей серьезности и бабьей истерике националистов, надо, наоборот, высмеивать ее.

Трезво оглядевшись, мы со всей очевидностью поймем, что делить нам нечего. Основа нашего всеобщего неблагополучия — отсутствие нор-

мальной государственности, которая озлобляет и унижает людей, а озлобленные люди легко создают образ национального врага.

Демократия — это выход из царства произвола людей в царство закона. Как только люди почувствуют, что законы их надежно защищают, а нормальная экономическая жизнь выявляет истинную цену каждого человека, произойдет здоровая переориентация духа, и человек оглянется на собственное националистическое восприятие, как на кошмарный сон. Люди перестанут сбиваться в толпу и поймут, что успех каждого человека в его личных усилиях и его личных резервах. И надо уже сегодня, сейчас терпеливо и упорно по кускам складывать эту демократию, не оглядываясь на центр, который вечно запаздывает. Но об этом я еще скажу.

Чем меньше народ, тем большая ответственность за его судьбу ложится на каждого интеллигентного представителя народа. Каждый народ, даже самый маленький, неповторимый узор на ковре человечества. Поэтому малость народа не должна порождать никаких комплексов. Наоборот, из самой малости народа вытекает предрасположенность к развитию собственной личности и личной ответственности.

Я хотел бы, чтобы наша молодежь подумала бы над этим. Я бы хотел, чтобы она поменьше митинговала и побольше занималась саморазвитием, чтобы стать настоящими мастерами своего дела, завтрашними умными хозяевами своей земли. В этом и только в этом я вижу истинный патриотизм.

Сейчас все бредят выходом из страны. И союзные республики, и многие автономные. Но вопрос этот колоссальной сложности, и те, кто так смело предлагает отделяться, не представляют всех его оттенков.

К нашим больным несвободой народам свобода пришла как в тюремную больницу. Главврач вошел и объявил: вы теперь свободны.

Но состояние здоровья больных таково, что ни один врач не в силах сказать, можно ли больным встать и уйти или еще нельзя. Пока не ясно, что лучше для больного: двигаться или лежать, — лучше лежать и лечиться проверенным временем лекарством. Этим лекарством все ныне цивилизованное человечество лечилось от феодализма. Если мы действительно оздоровим страну, хотя бы сделаем первые успешные шаги к нормальным демократическим порядкам, кто же тогда может запретить тому или иному народу выйти из Союза? Если он этого захочет в новых условиях? А если перестройка окончится крахом и в стране произойдет переворот, тогда и отделившиеся народы будут снова, уже может быть, с кровью притянуты к центру. И никто в мире их не защитит.

Но почему именно у нас национальные отношения зашли в такой безумный тупик? В Соединенных Штатах неудачливый предприниматель не может сказать себе, что, мол, я потерпел фиаско, потому что не принадлежу к правящей партии или англосаксонскому большинству.

Если он так скажет, на него посмотрят как на сумасшедшего, потому что это слишком явно не похоже на правду. И он это знает и потому утешается прекрасной, не оскорбительной для собственного самолюбия формулой:

— Мне не повезло.

Но наш человек, не сумевший сделать карьеру, во многих случаях вполне оправданно может сказать себе: я не сумел сделать карьеру, потому что беспартийный и не принадлежу к нации, которая в данном районе страны считается главной.

Оставим партийный признак. Здесь и так все ясно. Остается национальный. Человек, по национальному признаку не сумевший сделать карьеру, не может в глубине души не чувствовать себя обиженным народом, который в данном районе страны считается главным или преимущественным, хотя не народ выдумал эти порядки.

Такой человек озлобляется, и его пусть пока пассивное озлобление не может не замечаться представителями преимущественного народа, что, конечно, вызывает встречное озлобление и подозрительность. Впрочем, встречное озлобление может возникнуть гораздо раньше.

Там, где управленческий аппарат создается не по законам личной конкуренции, а у нас его везде создавали по признаку национального представительства, там все недовольны. Те, кого представляют большинством, хотят, чтобы их было еще больше, а те, которые представлены меньшинством, естественно, считают, что их недооценили.

А самое главное, при таком раскладе ни один народ не представляется своими лучшими сыновьями. Там, где надо угодничать перед аппаратом, люди достойные опускают глаза, а недостойные тянутся и выдвигаются, как лучшие национальные кадры.

Получается всеобщая в масштабах страны победа недостойных над достойными. Но недостойным в свою очередь легче опираться на недостойных, но близких по национальному признаку. Чем слабее человек одарен духовно, тем сильнее в нем биологические привязанности. Отсюда клопиные кланы национализма, очаги грядущих кровопролитий.

То, что наше государство манипулирует национальностью граждан, со всей ясностью вытекает из того факта, что у каждого в паспорте указана его национальность. Как будто человек сам не помнит своего происхождения.

Но раз государство манипулирует национальной принадлежностью граждан, граждане тоже начинают манипулировать этим. Некоторые стремятся попасть в нацию, которая выгодна в данном районе страны. Поэтому и милиция при выдаче паспортов строго следит, как бы гражданин ее не обманул и не юркнул из одной нации в другую. Но какое дело государству до моей национальной принадлежности?

Изначально, конечно, не было желания по-разному относиться к разным народам, но изначально была диктатура хозяина, желание

пришпилить человека к месту всеми возможными способами, в том числе и этим.

Знаменитая ленинская формула «государство есть орган насилия» — это не случайные слова, сказанные в горячке спора, а глубоко продуманный взгляд подпольщика-революционера.

Тоталитарное государство, каким оно было у нас семьдесят лет, безусловно, и есть орган насилия. В нормальном государстве как раз все обстоит наоборот. Нормальное государство есть орган гармонизации национальной жизни и защиты сограждан от хаоса и насилия.

Разумеется, и нормальное государство, подавляя насилие, вынуждено проявлять насилие. Но это ответное или предупреждающее насилие. Насилие нормального государства — это всегда меньшее насилие, предупреждающее большее насилие.

Так, милиционер на перекрестке останавливает и штрафует водителя, нарушающего правила езды, то есть применяет меньшее насилие, чтобы предупредить большее насилие автомобильной катастрофы.

Кстати, в Америке я несколько раз вблизи видел американского полицейского. Не знаю, всегда ли это так, но я каждый раз замечал открытую кобуру с грозно торчащим оттуда пистолетом. Всем своим степенным, уверенным обликом полицейский как бы говорил: «Я защищаю закон. Со мной шутки плохи».

И в самом деле, вероятно, с ним шутки плохи. Но характерна открытость его облика. У нас люди, осуществлявшие самую страшную власть над людьми, всегда были неопознаваемы на улице. Их вообще нельзя было узнать, пока они ночью не являлись за тобой. И человек, особенно в сталинские времена, чувствовал, что они везде и нигде. Это вносило в жизнь тихое оцепенение, которое наивные люди теперь принимают за воспоминание о порядке.

Не так давно в очереди за хлебом один пожилой человек крыл всю Горбачева и ностальгически вспоминал чудную жизнь при Сталине. Мне надоело его слушать, и я сказал, что, если бы он такое говорил при Сталине, он вместе со своим семейством исчез бы сегодня ночью. Он яростно заспорил, утверждая, что все это вранье, брали только врагов. Однако через некоторое время (хлеб все еще не привозили) он вдруг покинул очередь и исчез. Боюсь, что он кое-что припомнил, да и меня, может, принял за представителя власти.

Сегодня легко забывают, что дневное благообразие жизни в те времена поддерживалось ужасом ночных арестов. Человек жил по принципу: тебя взяли, а я пойду пить чай. И чай в самом деле становился слаще от того, что взяли другого, словно сахар арестованного досыпался в твой стакан. Слаб человек, и приспособляемость его, в зависимости от обстоятельств, принимает самые подлые формы.

Не только для сегодняшнего дня, но и для какой-то высокой, уходящей в будущее века цели человек должен жить, сохраняя в единстве свое тело и дух. Существенность существования духа наглядно опреде-

ляется его способностью управлять нашим физическим существом, которое то и дело взбрыкивает, как норовистая лошадь, и пытается вырваться на волю собственных страстей.

Трагизм человека в том, что на него возложена задача сохранить в гармоническом единстве и дух и тело, тогда как живой опыт ему нередко с беспощадной определенностью подсказывает, что если он сохранит свой дух, погибнет тело. Или наоборот. Если сохранит свое тело, погибнет дух. А бывает еще сложнее. Для того, чтобы сохранить свое тело, оказывается, надо было сохранить свой дух. Но и пренебрежение телом, как пренебрежение самоуверенного всадника к лошади, может быть следствием дурной гордыни духа, то есть порчей его.

Такова драма человеческого существования, и человек, чтобы остаться человеком, должен принять ее. Его собственная мудрость и религиозный опыт призваны помочь ему не расплескать себя в решении этой великой метафизической задачи.

Марксизм всегда отличался чрезвычайной бедностью понимания психологии человека. И это следует из самой его сути. Если поведение человека предопределено его классовым интересом, значит, тип его психологии мы знаем заранее, он вытекает из принадлежности к тому или иному классу.

Правда, марксизм признает, вынужден признать, что есть некоторое количество отступников своего класса. Но это не меняет общей картины. Сам Ленин изменил своему дворянскому классу и встал на сторону классовых интересов рабочих... (Чувствую, что вылетаю на просторы чистого юмора. Держите меня!)

Но то, что он стал защищать классовые интересы рабочих, мы все-таки узнали не от рабочих, а от дворянина Ленина. Вопрос осложняется еще тем, что другой дворянин Плеханов раньше Ленина изменил своим дворянским классовым интересам и стал на точку зрения интересов рабочих.

И Ленин сначала признал Плеханова своим учителем, но потом изменил учителю и создал свою партию, уверяя всех, что он изменил учителю, потому что учитель сам изменил интересам рабочих, но не вернулся к своим дворянским интересам, что было бы гораздо приличней, а стал обслуживать интересы буржуазии.

И таким образом, Плеханов дважды изменник, ибо сначала изменил своему дворянскому происхождению в пользу рабочего класса, а потом, поняв, что тут номер не проходит, очевидно, после неудачной революции 1905 года, перекинулся на более надежную, как ему казалось, буржуазию. Но он забыл указание Маркса, что буржуазия в конечном итоге обречена.

Дискуссия шла через швейцарские горы, но оглашала российские долины. Плеханов отвечал не менее ядовито. Да, говорил он, я изменил своим дворянским классовым интересам в пользу рабочего класса, но больше никому не изменял. А вот Ленин (Ульянов), сделав вид, что он

изменил своим дворянским классовым интересам в пользу рабочих, на самом деле остался во власти своих честолюбивых дворянских амбиций и метит на русский трон, хотя, как мелкопоместный да еще лишь во втором поколении дворянин, ни малейших прав на это не имеет. И именно с этой целью он связался с рабочими и, пользуясь их временной незрелостью, хочет создать из них красные сотни, повести на Зимний дворец и сесть на трон.

Трудно было Ленину отбиваться, а тут еще под ногами путались бундовцы, то есть евреи-социалисты. То они входят в российскую социал-демократию, то выходят, то им формулировки уточняй, а то они и вовсе заявляют, что сами будут разбираться со своими евреями-пролетариями. Какие пролетарии? Четыре сапожника из Гомеля?

И до того они ему надоели, что он просто решил известить их как нацию. Разумеется, в чисто теоретическом плане. Если бы практически, то надо было бы начинать с Зиновьева, который вечно торчал возле него и своей полной бестолковостью невольно подчеркивал роль личности Ленина в истории, что недопустимо для марксиста, хотя и приятно для личности.

Да, чисто теоретически. Но и теоретически как-то неудобно. Все-таки, что ни говори, дворянское воспитание. Отец учитель, люди не так поймут.

Выходит, Плеханов в чем-то был прав? Однако в чем-то и не прав, потому что Ленин все-таки осуществил свой замысел, правда, руками Кобы-Джугашвили. С этой целью он вызвал его к себе за границу, кажется, в Вену и посадил писать работу «Марксизм и национальный вопрос».

— Чифирь, — мрачно кивнул Коба Надежде Константиновне, которую тут же возненавидел за то, что стоит перед глазами, когда джигиты разговаривают о политике.

И вот Коба, хлебнув чифирь, стал писать и написал все, как думал Ленин. Там еще, говорят, был Бухарин, который переводил ему с немецкого всякие теории по национальному вопросу, а Коба с ходу опровергал первоисточники ошибок. Одним словом, в этой работе между всякими выкладками, так, чтобы не сразу бросалось в глаза, он доказал, что евреи не нация вообще. Он определил признаки, как бы имеющие отношение ко всем нациям. И вдруг оказалось, что каких-то признаков евреям не хватает. Я уже забыл, что там. Не то единства территории, не то выхода к морю или выхода вообще.

Ленин был в восторге: конец Бунду! Это же как таблица Менделеева. Если для какого-то элемента нет места, значит, такой элемент и не существует. Он, говорят, сказал... А кто, собственно, слышал? Выходит, Бухарин. Видно, он уже тогда слишком много знал, но не предчувствовал. Так вот, Ленин, говорят, даже приобнял Кобу и воскликнул:

— Молодец, динамитчик!



И что характерно, товарищи? Помните, Ленин о Сталине говорит в своем Завещании: грубый, капризный. Тут-то оно и проявилось. Кобе не понравилось, что Ленин его назвал динамитчиком. Как деньги для партии: «давай, давай!» А как теоретическая работа: динамитчик! Коба, говорят, сбросил руку Ленина с плеча и буркнул:

— Динамит ни при чем. Я — теоретик.

И, уже с яростью взглянув на Надежду Константиновну, выдавил:

— Чифирь!

Выпил чифирь и уехал в Россию добывать деньги для партии. А Ленин давай рассылать письма во все стороны: чудесный грузин! Чудесный грузин! Замечательную работу написал!

А фамилию, между прочим, не называет. Я-то раньше думал, из конспиративных соображений. А потом, читаю недавно найденное письмо Ленина в Россию. И там опять: чудесный грузин тут написал замечательную работу, но мы с Наденькой забыли его фамилию. Напомните, пожалуйста!

То ли запутался: Коба, Джугашвили, Сталин... То ли еще что. Ему бы забыть во веки веков его фамилию и чистоту классового происхождения, да, видно, от судьбы не уйдешь. Кстати, и чистота классового происхождения (отец сапожник, мать прачка), теперь подвергается сомнению. И что характерно? Опять, говорят, не обошлось без дворянина, но Ленин тогда этого не знал.

А что же евреи-социалисты? Одни, прочитав работу Сталина, приуныли, а другие, наиболее жизнестойкие, сказали: «Пока мало кто знает, что нас нет, будем строить государство Израиль. Будет и единство территории и выход к морю». И стали постепенно строить государство Израиль. Вот как это началось.

Самое удивительное, что история имеет свое продолжение. Недавно читал мексиканские воспоминания Троцкого о его революционной жизни, где он, конечно, говорит о Сталине. Легко понять, как он его любит. И то, что он его высмеивает как теоретика, тоже нетрудно понять. Какой он теоретик, пишет Троцкий, когда почти все украл у меня. Но что характерно, друзья, даже в далекой Мексике старается быть объективным. Правда, говорит, есть у него одна сильная теоретическая работа. Это «Марксизм и национальный вопрос». Что есть, то есть. Но учтите, кто дирижировал этой работой? Сам Ленин!

А если вдуматься, товарищи, какое время было, какие люди! Голова к голове! Орлы революции! И горный орел, уже тогда отдельно парящий над отдельно взятой страной!

...Однако пора остановиться. Иногда попытка выйти из отчаянья сама приводит к юмору. Вернемся к теме. Марксизм, порожденный искренним желанием помочь угнетенным, благодаря своей универсальности объяснения мира стал самым соблазнительным учением двадцатого века. Но искренность, как говорил Достоевский, недостаточна.

Я думаю, успех марксизма объясняется особенностями всемирно-психологических обстоятельств двадцатого века. Деятнадцатый век с его развитием науки и с усилением веры в науку подготовил в людях победу атеистического сознания.

Но постепенная победа атеистического сознания порождала именно в людях этого сознания тоску по универсальному объяснению мира, которое раньше им давала отвергнутая ими теперь религия.

Но сами они, не понимая, что тоскуют по отвергнутому ими религиозному сознанию, жадно набросились на марксизм. Потому что марксизм, с одной стороны, соответствовал их атеистическим представлениям, а с другой стороны, давая универсальное объяснение миру, утолял и вносил в сознание этих людей мниморелигиозную стройность.

Как и религия, марксизм выступал защитником бедных, как и религия, которая после жизни обещает каждому человеку воздать по заслугам, марксизм обещает то же самое сделать в конце истории.

Просто Бог переместился с небес на землю и потребовал от людей большей решительности и быстроты, ибо все, что раньше предполагалось делать в земном и небесном времени, должно делаться в одном времени нашей жизни.

Как наука марксизм орудовал логикой, как религия объяснял все. Но чем сильнее была в людях атеистического сознания тоска по универсальному объяснению жизни, тем меньше они были склонны подвергать беспощадному анализу логику Маркса.

Не случайно у нас в стране и во всех странах социализма везде выставлялся один и тот же портрет Маркса с библейской бородой. Говорят, у Маркса было немало других снимков, но этот единственный с пророческой бородой, которой он оброс во время болезни, был сделан по настоянию дочерей из любви к экзотике. И именно этот вытеснил все остальные.

Могут сказать, что у нас марксизм извратили. Но тогда надо сказать, что его извращали везде, где только правящая партия пыталась строить социализм по его схеме. А раз так, значит, личинку распада его учение само носило в себе.

Суть дела заключается в том, что человек — существо творческое, а не классовое. Классовая страсть не является ни единственной его страстью, ни преимущественной. Среди множества человеческих страстей самой мощной, самой естественной и самой плодотворной является страсть творческого самоутверждения.

Человек в силу собственного характера или исторических условий может отвлекаться от этой соприродной своей сущности и в сторону классовый, и в сторону националистической страсти. Они и возникают чаще всего, эти страсти, когда по каким-то причинам человеку затруднительно или невозможно самоосуществляться в своей истинной природе.

И не случайно великие психологи всего мира, знатоки человеческой природы во главе с Львом Толстым не приняли этого учения. Лев Тол-

стой когда-то занимался Марксом. Кто больше Толстого знал человека, кто мучительней всех думал о судьбе цивилизации и всего человеческого сообщества? И если он, изучив теорию Маркса, сказал: «Это все не то», — хотя бы с величайшим опозданием надо прислушаться к гениальному сыну человечества. Кстати, у Толстого есть вполне уместные слова: в литературе можно придумать все, кроме психологии человека. Но то же самое можно сказать и о любом учении, имеющем дело с человеком.

Мы жили по законам выдуманной психологии человека. И поплатились за это. Там, где утверждается, что истина и нравственность носят классовый характер, разрушается вообще всякое представление об истинности и нравственности. Человек, и без того часто склонный к корысти и жестокости, в учении о классовой борьбе нашел великое оправдание своим низким страстям.

Со времен Сократа высочайшей доблестью человека считалось справедливое суждение. Не только мудростью, но и доблестью, потому что мыслящий человек имел мужество встать над своими интересами и увидеть любой предмет в его истинной сущности. Это требовало от мыслителя не только силы ума, но и этического напряжения, которое в свою очередь подхлестывает ум.

Если же справедливость понятие классовое, то надо допускать, что во всяком общественном явлении по крайней мере две истины, двух классов. А если так, то откуда взять нравственное напряжение в поисках истины, откуда взять силы, чтобы во имя истины отрывать от себя, как клещей, эгоистические аргументы в пользу своего класса? И если допустимо суждение пристрастное в пользу своего класса, то где гарантия, что я свое суждение, уже выгодное лично для меня, не выдаю за суждение, выгодное для моего класса?

Классовый подход к истине абсурден не только теоретически. Он породил целую армию идеологических жуликов, которые семьдесят лет топтали цвет нации, чтобы украсить собственную убогость.

Так что есть человек?

Человек по своей природе творец, он жаждет личной инициативы, он хочет себя вложить в свое творчество. При этом нет принципиальной разницы, что именно он творит: плетет ли веник, выращивает ли капусту или пишет картину. Важно, что так именно делать пришлось именно ему в голову и именно он это осуществляет.

И если он сам не может осуществить свой творческий замысел, благодаря его сложности и обширности, он ищет других людей, которые могли бы зажечься именно этим его замыслом, тогда они превращаются в его продолжение, а принцип остается в силе. Такова природа истинного коллективизма.

Между таким коллективизмом и нашим обычным — ничего общего. Наш коллективизм никогда хорошо не работал, потому что не был плодом творчества человека, а был навязан сверху. В таком коллективе не

бывает полноты самоотдачи, потому что творческая природа человека включается в труд только в условиях внутренней добровольности.

Сегодня перед нами задача грандиозной сложности. Надо вернуть человека к его истинной природе творца, личного хозяина своей творческой природы. Но извращение нашей природы зашло слишком далеко, и тут мне приходит в голову притча о бедном и богатом пьянице.

Бедный пьяница, дошедший до того, что начал продавать вещи из собственного бедного дома, довольно быстро оголит его и, возможно, однажды с похмелья, оглядев оголенный свод дома, так ужаснется своему падению, что найдет в себе силы переломить себя и перестанет пить.

Богатый пьяница, который стал тащить и продавать вещи из собственного дома, оголит его далеко не так быстро и потому увязнет в пьянстве гораздо глубже, и гораздо позже, оголив свой дом и ужаснувшись, все-таки имеет меньше шансов переломить себя и стать нормальным человеком.

Наша страна была очень богата природными ресурсами. Мы слишком долго транжирили и продавали их, как тот богатый пьяница. Теперь очнулись, но так мало веры осталось, так мало сил, так мало умения, так много вороватости.

За хаос в стране несет ответственность не только аппарат, но и мы все, за то, что махнули на себя рукой и примирились со своей позорной ролью полунищих, полуужидвенцев.

Если предчувствие завтрашней беды не заставит нас уже сегодня переломить себя и выпрямиться, значит завтрашняя беда будет реально-стью.

Пусть каждый скажет себе: сегодня мой труд — это как дежурство у постели больной матери. Неужели можно быть недобросовестным?

Но если хотя бы половина взрослых людей скажет себе это, никакой катастрофы не будет. Вскоре и вторая половина потянется за первой, потому что другого выхода нет.

Реакция распада должна смениться реакцией сцепления. Мы под историческим завалом. Но, слава Богу, живы. Давайте пробиваться друг к другу. Ты себе не нужен, тебе ничего не надо? Но ты пойми, что ты нужен другому, и как только это поймешь, почувствуешь желание жить. Чтобы спасти себя, надо спасти другого. Так было всегда. В этом мудрость природы.

Давайте вспомним, из какого кровавого развала страны и душ вылезла послевоенная Германия и расцвела. И мы вылезем.

Мы изверились в себе. А между тем не напрасно говорилось, что наши люди не менее талантливы, чем жители более везучих стран.

Я был в Америке. Жил среди наших эмигрантов. Это обыкновенная наша интеллигенция, отнюдь не сливки науки. Почти все они показали себя там прекрасными знатоками своего дела и нередко опережают коренных американцев. Да, конечно, в чужой стране в человеке с

особой силой работает пафос самоутверждения. Не странно ли, что в собственной стране мы вообще лишили его этого творческого пафоса? Но, оказывается, там в нашем человеке работает и преимущество более широкого взгляда на вещи. Не будем гадать об истоках этого более широкого взгляда: скорее всего там, где все неустроено, человек чаще поднимает голову над своим делом, чтобы сориентироваться в окружающем мире. Но этот более широкий взгляд на мир оказался весьма полезным даже в точных науках. Мне говорили, что американский конгресс выразил благодарность русским эмигрантам за большой вклад в американскую науку.

...А что же центр? Наша растерянная, взвинченная, развороченная страна смотрит ли на него с надеждой? К сожалению, нет. Такое впечатление, что в верхних эшелонах власти все еще идет глухая борьба за власть. Отсюда ее невразумительность и нарастание центробежных сил.

Если закрыть глаза и представить телеэкран за многие месяцы, то такое ощущение, что правительство что-то мямлит и мямлит. Смысл не ясен, но впечатление такое, что оно все время Умоляет Нас Пожалеть Его.

Как могло случиться, что правительство все время опаздывает прийти на помощь людям, которых убивают и насилуют погромщики? И при этом обнаруживается, что все эти погромы достаточно тщательно и не слишком скрытно готовились.

Как могло случиться, что тысячи и тысячи людей покидают города и села, где прожили всю жизнь, и становятся беженцами, теряя нажитое, квартиры, надежды?

Как могло случиться, что какие-то люди блокируют железные дороги, и поезда не ходят неделями, а правительство ничего не может сделать? Выходит, завтра на улице Горького разлягутся какие-то люди, и движение остановится на несколько дней? В Москве это невозможно? Значит, в единой стране законы действуют по-разному? Тогда зачем призывы к единству страны?

И это государство с самой сильной армией в мире. И оно же совсем недавно, впадая в молодечество, полезло в Афганистан. И если бы не помнить о кровавых жертвах, можно было бы сказать, чего наша армия там добилась: взорвала несколько гор (по телевизору показывали), устроила никем не прошенный сквозняк и ушла с видом исполненной геологической миссии.

А когда наши люди, извиваясь в руках насильников, кричат о помощи, армия приходит, когда кричавшие уже навек замолкли.

И, наконец, нечто великолепное по своему комизму. В разгар критики партийной команды страны, в размышлениях, где и как ее пристроить, вдруг на поле выскакивает неведомая никому запасная команда. При этом она делает круг почета, помахивая казацкими нагайками, в шутку, конечно, и то и дело кланяясь, ибо улюлюканье принимает за древнерусский знак одобрения.

После чего она объявляет громоподобную новость о том, что отныне от имени коммунистов будет управлять Россией, и вдруг куда-то проваливается. И совершенно непонятно, у кого спросить: разве не Россией семьдесят лет управляла главная коммунистическая команда? Может, она управляла Индией? Может, мы все буддисты? Поистине: были страшилещем, стали смешилещем.

...Однажды ночью в живописном маленьком немецком городке я вместе с несколькими нашими туристами перешел улочку, хотя светофор горел красным светом. Но пустынная улочка, поздний час, и мы по привычке перешли улицу. И тут только, почему-то оглянувшись (может быть, послышалась реплика), я увидел, что несколько немцев стоят и ждут зеленого света.

Я почувствовал, что это не случайность. И то, что мы, не стовариваясь, перешли улицу, и то, что они, не стовариваясь, стояли и ждали зеленого света.

У нас и у людей Запада сложилась разная психологическая установка или разная ментальность, как сейчас принято говорить.

Западный человек не боится начальства, но платой за это является уважение к закону. Сложился незримый общественный договор. Прочность его основана на взаимной выгоде исполнения закона и властями, и гражданами.

Наш человек до последнего времени боялся начальства, но платой за это было неуважение к закону там, где начальство этого не видит. Это тоже общественный договор. Власти без слов, конечно, договорились с народом: вору, но не попадайся, зато никогда не спрашивай у начальника, почему именно он начальник.

А что же закон? Закон был, как подслеповатый, но злой пес при начальстве. Захочет, спустит его на тебя, захочет, сам закон запрет в конуру и выпьет с тобой в самое незаконное время.

Кара начальства, когда оно хотело карать, как бы исходила из мирового духа диктатуры пролетариата. А что в данный миг думает о тебе мировой дух, понять было совершенно невозможно. И человек цепенел. А потом водкой снимал оцепенение. По-видимому, мировой дух, именно потому что он дух, ничего против водки не имел. Поймем ли мы, наконец, великий крик души пьяного российского человека: ты меня уважаешь?

Мы сегодня пытаемся сменить психологическую установку на западный лад. Не потому, что он западный, а потому, что правильный. Когда-то она и у них была точно такой же, как и у нас.

Но что у нас сегодня получается? С разрешения начальства люди перестали бояться начальства. Но начальство подразумевало, что теперь народ начнет уважать законы. Но народ не спешит уважать законы, и начальство горько обижается на неблагодарность народа.

А между тем, чтобы сработала новая психологическая установка, нужно, чтобы начальство само научилось уважать законы и подчиняться

им. Но это ему еще труднее дается, чем народу, ибо оно никак не может привыкнуть к мысли, что сегодня обязано подчиняться своему вчерашнему сторожевому псу.

И мы сейчас живем в дурной бесконечности беззакония. Прервать ее может только правительство, со всей ясностью перед всем народом подчиняясь своим же законам, и со всей властью, данной ему законом, подчиняя сограждан власти закона.

Когда-то у нас показывали телевизионный репортаж из Америки. Там какие-то родители-расисты не пускали негритянскую девочку в школу. И вот, чтобы защитить ее, чтобы дать девочке беспрепятственно войти в школу, американские солдаты выстроились в два ряда, и девочка прошла в школу по этому живому коридору государственной воли.

Наши хотели показать подлость расизма, которая и так очевидна. Но я в этих кадрах увидел неслыханную красоту силы закона, ее этическую непреклонность. Могучий слон государственности посадил на свой хобот маленькую девочку и внес ее в школу.

Мы истосковались по такому зрелищу в родной стране. Когда же нас потрясет наше государство великой красотой закона? Когда же наконец оно протянет добрый хобот слабому и грозно обернется в сторону насильника и погромщика, выставив свои мощные бивни?

## ЧЕЛОВЕК ИДЕОЛОГИЗИРОВАННЫЙ

Что с нами случилось? Почему так кровоточат межнациональные отношения? Почему целые народы, как обезумевшие родители на охваченном паникой корабле, пытаются, схватив своих детей, выпрыгнуть за борт? Отчего такой дефицит? Отчего даже если и удастся приобрести нужную вещь, она почти всегда плохо сделана? В ней как бы заложено изначальное стремление к уродству. Почему в метро, в толпе, в очереди так редки хорошие человеческие лица? Кажется, люди, как и вещи, сделанные ими, зачаты наспех, мимоходом и даже с некоторым отвращением. А, может быть, то, что мы делаем, одновременно делает нас? Каким мы сделали окружающий нас мир, таким и он сделал нас? Идеология — вот, на мой взгляд, первопричина всего. Сначала была идеология, и она была бог. В лихорадочном ожидании мировой революции она пронзила все сферы жизни, и всякий продукт духовного или физического труда должен был нести на себе мистический отблеск, знак верности конечной цели. Все! От книги до пуговицы, от электростанции до картошки.

Идеологизированное общество охватывает наступательная паника, и всякий человек в этом обществе, не охваченный ею, мгновенно угадывается и угадывается как враг. Однако вовремя поняв, что ему угрожает, он может успеть спастись, придав своему ужасу выражение идеологического восторга. Ужас и восторг — психологически близкие понятия. А тот, кто не успел придать лицу выражение идеологического восторга или тем более попытался остановить наступательную панику, затапывается толпой со злорадным наслаждением.

Почему всякое идеологизированное общество столь невероятно жестоко? Потому что идеологизированный человек отдает идеологии тайну своей жизни, свою истинную ценность, свою нравственную свободу, свою личность. За это в будущем ему обещан вход в земной рай, а в настоящем — пустотелая легкость безответственности.

Но даже самый тупой человек, видя или подозревая, что его сосед этого не сделал, испытывает к нему мучительную зависть, переходящую в ненависть. Уродство, став нормой, тут же мстит человеческой норме.



Внешне парадоксально, что в идеологизированном обществе при всех невероятных трудностях существования процент самоубийств гораздо меньше, чем в странах с демократическим режимом. Но если вдуматься, все правильно. Самоубийство — следствие ощущения личного краха. Чтобы ощутить личный крах, надо быть личностью.

Идеологизированный человек при всей своей амбициозности перестает быть личностью ровно настолько, насколько он идеологизирован. Кстати, амбициозность, раздувание личного достоинства как раз есть признак отсутствия личного достоинства. Человек с личным достоинством именно из гордости за реальность этого достоинства испытывает унижение, когда границы его личного достоинства расширяются или сужаются. Ибо в обоих случаях страдает ощущение реальности этого достоинства.

Идеологизированный человек не может сказать: а что моя совесть при свете вечности? Такой вопрос просто не возникает, потому что личная совесть отдана идеологии, а вечность отменена. Ее заменяет мессианский финиш идеологической цели.

У идеологизированного человека нравственное чувство постепенно атрофируется, оно полностью или почти полностью заменяется соображениями целесообразности по отношению к конечной цели.

Поэтому идеологизированный человек динамичен, он склонен принимать грандиозные решения, например, строительство небывалых электростанций, невероятной длины каналов, повороты рек и тому подобное. Ему нужны наглядные вехи нешуточности конечной цели.

Пока идеология сильна, идеологизированного человека невозможно поймать за руку. Даже если и найдется смельчак, который с карандашом в руке возьмется доказывать, что эта грандиозная электростанция не окупает себя, тот ему ответит, что вы, мол, не учитываете ее более важного пропагандистского значения.

По этому поводу забавный случай рассказывал академик Алиханьян. Когда задумывали или начинали строить первую атомную электростанцию, его вызвал к себе тогдашний председатель Госплана Вознесенский.

— Насколько атомная электростанция выгодней гидроэлектростанции? — спросил у него Вознесенский.

— Это невозможно определить, — ответил ему Алиханьян.

— Почему? — спросил Вознесенский.

— Потому что у нас цену на электричество определяет не рынок, а государство, — ответил Алиханьян.

Вдруг Вознесенский встал из-за стола и поцеловал его. Как можно понять эту сцену? Неужели председатель Госплана СССР не знал, что у нас цены назначаются? Конечно, знал и даже догадывался о глубочайшей ненормальности этого явления. Но назначение цен государством, видимо, входило в принципы социализма. Идеология. Тут сомневаться никому не дано. Видимо, Вознесенский сомневался в правильности принципа назначения цен государством, но поделить своими сомнениями

ями ни с кем не мог. И вдруг академик простодушно подтверждает правильность его сомнений. Не потому ли Вознесенский впоследствии погиб, что пытался уже на другом уровне внести хотя бы крохи здравого смысла в экономическую политику? Не исключено.

В идеологизированном обществе чем ближе человек находится к вершине власти, тем есть к источнику идеологической радиации, тем труднее проявить гибкость и вовремя отменить неправильное решение. Ключ идеологии всегда точно попадает, когда бьет по голове сограждан и никогда не попадает в зерно истины.

Однажды этот ключ чуть не опустился на мою голову. Дело было в сталинские времена. Будучи любопытствующим студентом, на семинаре по марксизму я спросил у преподавателя:

— Почему в философском словаре написано, что «Краткий курс» — гениальное произведение товарища Сталина, а в «Кратком курсе» говорится, что под водительством Сталина партия идет от победы к победе? Не мог же товарищ Сталин сам себя хвалить?

Аудитория притихла. Преподаватель онемел. Я вдруг почувствовал, что нарушил какое-то страшное табу. Но тут прозвенел звонок. После перерыва семинар должен был продолжиться. Что же он мне ответит? Преподаватель сделал самое умное из всего, что можно было сделать. Он продолжил семинар так, как будто моего вопроса вообще не было. Ни я, ни аудитория не напомнили ему об этом. Так и пронесло. Видимо, сам он на меня не донес, то ли из порядочности, то ли из боязни за себя: кого воспитал? А в аудитории в этот исторический момент не нашлось стукача.

Собственно, чего я добивался своим вопросом? Мучительное желание юности поверить идеологии, но только честно. Вот какие-то дураки приписали товарищу Сталину чужую книгу и, в сущности, выставили его хвастуном. Теперь это смешно, но в тот миг подсознательно казалось: вот сейчас это противоречие разумно объяснится и станет понятно, что и все остальные противоречия — случайный мусор на чистом замысле идеологии.

В идеологизированном обществе всякий сомневающийся человек болезненно переносит свои сомнения, свое сиротство в собственной стране. Сомнениями практически никто не делится, зато как грандиозны карнавалы единства! Это подавляет. Конечно, зрелый, сильный, проницательный человек берет на себя эту драму одиночества. Но сомневающаяся юность страшно страдает от нее. Она то тянется к идеологии, то с брезгливым ужасом отдергивается от нее.

При громогласном признании нашей философией первичности материальных задач почему-то именно материальный мир нам никак не дается. Почему на наших глазах во всех сферах жизни исчезает мастерство, исчезает мастер?

Предположим, мастер строит дом. Кто определяет стоимость дома? В нормальном обществе рынок и только рынок. И мастер знает, что ни-

что, кроме его способностей, его опыта, его стараний, вложенных в строительство дома, не определяет его стоимости.

Что же происходит с мастером в идеологизированном обществе? Ценность дома не определяется только качеством выполненной работы, качеством дома как дома. В стоимость дома входит как бы мистический знак верности идеологии. При этом чем сильнее в обществе идеологический накал, тем важнее в признаке дома знак верности этому накалу и тем второстепенней признаки дома как дома.

Простейшим знаком идеологической верности может быть обязательство построить дом в два раза быстрее, чем это было принято раньше. Мастеру, понимающему, что в такой срок хороший дом не построить, куда деться. У него нет работодателя другого типа. Если он открыто заявит о своих сомнениях, его в лучшем случае прогонят, в худшем объявят саботажником.

И вот мастер берется строить этот дом. И, возможно, в первый раз, подхлестываемый искренним энтузиазмом, он его выстроит добросовестно. Но энтузиазм не может долго подхлестывать человека. Во всякой работе существуют естественные ритмы. Сравнительно долгое нарушение их приводит к надрыву, к депрессии.

Что же делать? Человек — существо приспособляющееся. Укладываясь в сроки, сохраняя соответствие идеологической дисциплине, он начинает снижать качество труда.

Но что он говорит своей совести мастера? Такие, мол, сроки, ничего не поделаешь. К тому же прислали куда не годный кирпич. Последнее вполне может соответствовать действительности: тот, кто обжигал кирпич, идеологизировался несколько раньше.

Но как бы мастер себя ни оправдывал, в глубине души он чувствует недовольство собой. Для всякого нерастленного человека противостоит естественно работать ниже своих возможностей. Начинается потеря самоуважения, распад личности. Скрежет внутренней дисгармонии приглушается водкой.

Общество, теряя мастера, теряет в тысячу раз больше, чем получает от этого досрочно выстроенного дома. Но на первых порах это мало заметно: дом возвышается, землетрясения довольно редки.

Но как работодатель в лице своего приемщика относится к этому дому? Так ведь приемщик сам идеологизирован. Он знает, что мастер досрочно построил дом, и в конечном итоге это идейное достоинство уравнивает материальные недостатки дома как мелкие, частные.

Ведь новый дом — это не только дом, а в иных случаях даже не столько дом, сколько еще одна победа над старым миром.

Если же приемщик все еще сам мастер своего дела, его ждет та же участь, что и мастера-строителя. Он ничего не может сделать, у него тоже нет работодателя другого типа. Кстати, ненависть современной административно-командной системы к кооперации — это прежде всего боязнь, что появится работодатель другого типа.

Но круг еще не совсем замкнулся. Может быть, запротестует тот, кому жить в этом доме? Нет, не протестует, потому что остро нуждается в квартире.

Идеология держится на дефиците. Она постоянно борется с ним и постоянно порождает его. Попытки решить очередные задачи приводят к очередным очередям. Нэп почти ликвидировал дефицит, за что и сам был ликвидирован, даже если тогдашние идеологи субъективно думали, что делают нечто другое.

Хрущев несколько поднял запущенное сельское хозяйство. С продуктами стало лучше, но идеология захромала. Тогда он принялся бороться с приусадебным хозяйством крестьян. По-видимому, сам он думал, что, если освободить крестьянина от забот о собственной корове, он в колхозе будет работать лучше. Он думал, что он сам думает, но за него думала идеология. С продуктами стало похуже, но идеология взбодрилась, тычки ее стали чувствительней.

На определенном этапе наш бывший мастер с известной степенью искренности присоединяется к идеологическому кликушеству. Он интуитивно чувствует, что чем сильней накал идеологии, тем меньше шансов, что его плохая работа будет по достоинству оценена. Да и как построить хороший дом, когда кругом шныряют враги, а вредители то и дело подсовывают сырой, как тесто, кирпичи.

В идеологизированном обществе всякая государственная кампания, даже правильная в своей основе, обречена на провал. Почему?

Потому что всякая государственная кампания рассматривается как последнее слово идеологии, и те, кто воплощает ее, должны прежде всего и главным образом проявить пафос верности последнему слову. Особенно же пафос верности необходим, когда последнее слово идеологии противоречит предпоследнему.

А так как границы верности ей точно никто не знает, но все боятся ее переступить, то каждый идеолог с большим запасом усердствует в заданном направлении.

Так было всегда. Так было с кукурузой, которую стали сеять на севере, так было уже в наше время с антиалкогольной кампанией. На юге начали выкорчевывать прекрасные виноградники, плоды многолетних трудов. Что должен был делать мастер-виноградарь, глядя на это варварство? Плюнуть и отвернуться? Господи, сколько раз это повторялось на протяжении нашей жизни, и как об этом скучно сейчас говорить!

Труднее всего поддается идеологизации крестьянство. Именно поэтому идеология подвергла крестьянство самому страшному разгрому. Крестьянин, живущий на своей земле и своей землей, труднее всего поддается идеологизации, то есть социальной утопии, потому что у него в голове проверенная собственным опытом и подтвержденная веками модель жизни. В силу особенностей его труда ему легко обозримы начала и концы существования. Солнце встает на востоке и садится на западе. Земля должна родить, скот должен плодиться. Вершина дерева кача-

ется под ветром, но дерево не падает, потому что корни его крепки и неподвижны. Единственная неопределенность — капризы погоды. Поэтому он чаще других поглядывает на небо, как потом, уже раскрестяившись, после страшных лет коллективизации, будет заглядывать в глаза начальства: что они еще там напридумали?

А пока сам круговорот природы — могучее подтверждение его правоты. Вся жизнь уместается в один год и потом снова повторяется. Прочность ритма. Посеянное весной соберешь осенью. Ожидание не слишком долгое, чтобы успеть извериться, и не слишком короткое, чтобы успеть накопить аппетит. А что такое пятилетка? Почему именно пятилетка? Разве в городе для того, чтобы построить завод или машину, нужно именно пять лет? Всегда пять лет? Непонятно и даже страшно, как марсианское летосчисление.

Крестьянин в силу особенностей своей жизни сохранил античный, внеисторический взгляд на жизнь. Если у настоящего крестьянина, пока он еще верит в крестьянскую жизнь, спросить: «Что будет через пятьдесят лет?», он ответит: «Как что? Если будет хорошая погода, будет хороший урожай».

Идеология понимала, что с этой цитаделью естественного, самобытного мышления ей не ужиться на одной земле. Носители идеологии, видя, что крестьянин упорно не хочет идти в колхоз, объяснили себе это его темнотой. Они правильно замечали, что крестьянин часто малограмотен, полон научных предрассудков, например, не знает истинную причину грома во время грозы и по той же якобы причине пока не понимает философию новой жизни. На самом деле крестьянин ее быстрее всех раскусил, понял ее антиприродную сущность.

Получился трагический парадокс. Носители утопической, ничем не связанной с жизнью идеологии боролись до победного конца с носителями истинной философии существования, проверенной веками. Здесь, как и везде, меч победил земляного философа.

А что творческая интеллигенция? Если бы инопланетянин мог следить за нашей литературой, он бы заметил одну странную особенность. У всех крупных советских писателей, принявших идеологию, лучшие книги — первые. А дальше идет с теми или иными колебаниями угасание таланта, так и не достигнувшего творческой зрелости.

И, наоборот, писатели, не принявшие идеологию, при всей трагичности их личной судьбы, от книги к книге, часто не напечатанной при жизни, писали все лучше и лучше. Таковы Ахматова, Есенин, Булгаков, Мандельштам, Пастернак, Зощенко.

Но что случается с писателями, которые искренне приняли идеологию? Почему они пишут все хуже и хуже? Первые книги у них были лучшими, потому что в них использовались впечатления, еще не процеженные идеологией или не до конца процеженные.

Настоящий писатель рисует человека на фоне вечности. Сила чувства вечности и есть поэтическая сила таланта. Только на этом фоне нам

кажутся убедительными великие, жалкие и смешные страсти человека. В реальном соотношении с вечностью нам раскрывается подлинность человека. Такова коренная особенность искусства. Писатель может сознательно отодвинуть вечность, чтобы показать ужас копошения человека, оторванного от вечности, но он ее не может заменить чем-то другим. В данном случае художественное произведение строится так, что читатель невольно подставляет эту вечность, понимает, чего лишились эти люди и почему они так смешны или страшны.

Идеологизированный писатель как раз и пытается вечность заменить чем-то другим. Он рисует человека на фоне конечной цели идеологии, этой вечности для бедных.

В первом случае писатель старается писать так, чтобы понравиться тому, кто стоит за вечностью.

Идеологизированный писатель старается писать так, чтобы понравиться главному носителю идеологии.

Писатель, пишущий человека на фоне вечности, интуитивно отбирает те жизненные детали, которые достойны вечности.

Писатель, пишущий на фоне конечной цели идеологии, отбирает детали, преимущественно полезные для конечной цели идеологии.

В первом случае — накопление поэтических деталей. Во втором случае — накопление рационалистических деталей, что приводит к риторике.

В первом случае — путь от человека к Богу.

Во втором случае — путь от человека умозрительно к более совершенному человеку.

В первом случае — стремление к идеалу не ограничено ничем.

Во втором случае — сам идеал ограничен рамками идеологии.

В конечном итоге идеологизированный писатель, если он был рожден с искрой совести и она в нем не до конца угасла, не может не почувствовать себя обманутым и опустошенным. И опять — водка.

Трагикомизм идеологии, борющейся с капитализмом, заключается в том, что она сама, победив, превращается в идеологический капитализм, где главным источником товарно-денежных отношений является сама идеология.

Вслед за первыми энтузиастами, которые как бы бесплатно раздают идеологию, появляются самые настоящие коммивояжеры идеологии, которые рекламируют ее совсем так, как в буржуазном обществе рекламируют товар.

Среди идеологов вспыхивает конкуренция. Но если капиталисту достаточно разорить своего конкурента, здесь надо заставить его замолчать и желательно навсегда. Как это делалось, мы хорошо знаем. Идеологический капитализм в отличие от обычного абсолютно монополистичен. Конкуренция происходит внутри одной фирмы и, может быть, поэтому столь беспощадна. Каждый выигравший в конкурентной борьбе получает доходы в строгом соответствии с занятым в фирме положением. До-

ходы строжайше регламентированы. Если одному боссу секретарша приносит чай с лимоном, то боссу, находящемуся этажом ниже, его секретарша приносит тот же чай, но уже без лимона.

И подобно тому, как капиталистическое общество в конечном итоге выигрывает от конкуренции, идеологический капитализм тоже выигрывает от кровавой конкурентной борьбы. С одной стороны, у народа усиливается страх перед идеологией, а с другой стороны, провалы в хозяйственной жизни страны легко объясняются злокозненностью разоблаченных конкурентов.

И подобно тому, как во времена классического капитализма наступал кризис перепроизводства товаров, в идеологизированном обществе рано или поздно наступает кризис перепроизводства идеологии.

У нас он наступил давно. Разоблачение Сталина на двадцатом съезде при всей смелости и благотворности этого акта было последней попыткой спасти идеологию. Позже труп Сталина вынесли из Мавзолея, но похоронили на всякий случай поблизости.

Идеология держалась не только на страхе и ожидании грядущего чуда. Она создала для человека немало тлетворных, но приятных удобств. Она освободила человека от нелегкого труда думать самому и самому оценивать окружающую жизнь. Правда, она недодала народу хлеба, но зато по части кровавых зрелищ никто с ней не мог сравниться.

Она бесконечно льстила рабочему человеку, объявив ему, что именно он венец истории, а остальные классы обречены на гибель. Она уверяла его в том, что он от природы выше интеллигента, что доказано интеллигентской же наукой.

Пастернак с горькой иронией писал еще в двадцатых годах:

А сзади, в зареве легенд  
Идеалист-интеллигент  
Печатал и писал плакаты  
Про радость своего заката.

Классовый расизм льстил человеку точно так же, как и обыкновенный расизм. Сегодня вместе с идеологией с грохотом рассыпался классовый расизм, но его разлетевшиеся по всей стране обломки зачадили огнем национализма. Ничто не проходит даром.

Идеология создала культ динамичного, ни в чем не сомневающегося человека, готового без рассуждений выполнять любое задание начальства или то, что он принимает за это задание. Благодаря такой социальной эстетике, такому естественному отбору главным человеком во всех сферах жизни стал напористый дурак.

Сегодня, оглядываясь на наш исторический путь, мы с изумлением думаем: как могла идеологическая утопия столько лет править страной? Как она пришла к власти? Неужели наш народ был изначально поражен генетической склонностью верить мессианским мифам?

Нет, конечно. Чтобы идеологическая утопия стала на достаточно большое время привлекательной для достаточно большой части нации, нужны были определенные исторические условия. Нужна была кровавая изнурительная война, разруха, голод, распад старого строя. Страдание, это каждый знает по себе, делает человека достаточно легковерным по отношению к человеку, предлагающему способ выхода из этих страданий. Психически ослабленный человек сравнительно легко подчиняется волевому напору человека, который уверенно объявляет о том, что он знает истину.

Чтобы в стране восторжествовала данная идеология, необходима критическая масса поверивших в идеологию людей. Определить ее можно так. Торжество идеологии возможно в данной стране, когда количество поверивших в идеологию людей способно контролировать мысли и действия всего остального народа. Совсем необязательно, чтобы контролирующих было большинство. Хорошо организованное решительное меньшинство, наводя время от времени вполне зримый ужас на большинство, может управлять им. К ним присоединяются, легко усвоив революционную фразеологию, те люди, которые вообще по природе своей были разрушителями, но их сдерживали старые законы. А тут сам закон говорит: «Грабь награбленное!» Ну, разумеется, во имя лучшего будущего.

А дальше, слаб человек, многие из колеблющихся присоединяются к боевому меньшинству. Рассуждают они примерно так: «Революционеры, по-видимому, что-то понимают, чего пока не понимаем мы. Иначе они не действовали бы столь уверенно и столь победно».

Эстетика решительности воспринимается психически придавленной террором нацией как этика правоты.

После гражданской войны обещание сытой и справедливой жизни было отодвинуто необходимостью покончить с разрухой. И эта необходимость была естественной и явной. За грохотом восстановительных работ народ не заметил, что в новом обществе лагеря строятся быстрее, чем фабрики и дома. Когда заметил, было уже поздно. Он был уже притянут к земле тысячами идеологических нитей, совсем как Гулливер лилипутами.

Ленин при всей своей невероятной тактической гибкости был пламенным мечтателем. С религиозной истовостью он поверил в мессианскую роль рабочего класса на земле. Эта вера, целиком вычитанная из Маркса, никак не соответствовала действительности, по крайней мере России двадцатого века.

Если бы хоть в какой-то мере эта вера соответствовала действительности, рабочий класс России уже в середине двадцатых годов, когда среди вождей революции борьба за власть приняла явный и безобразный характер, ударил бы кулаком по столу: власть моя! Он заставил бы вождей выработать демократический механизм выдвижения руководите-



лей, хотя бы внутри партии. Но ничего такого не произошло. И не могло произойти.

Среди партийцев вкус к власти уже превзошел жажду истины. В голове дымящегося стола, поглаживая усы, уже уселся грозный тамада. Но в крестьянской стране еще оставалось крестьянство, хоть и молчащее, но не поддающееся гипнозу идеологии. Коллективизация была проведена не из ложно понятой экономической целесообразности, как это принято думать, а потому что крестьянство, пока оставалось крестьянством, не поддавалось идеологизации. И его сокрушили. Все, что было дальше, хорошо известно.

Сегодня все видят, что идеология потерпела полный крах.

Там, где была идеология, зияет черная дыра. И оттуда веет тревожным космическим холодком. И сейчас неуютно поеживаются не только те, кто привык паразитировать на идеологии, но и те, кто весьма критически к ней относился.

При цепенящей глупости правления Брежнева, а точнее, сами грандиозные размеры этой глупости создавали своеобразный психологический эффект нашего отвлечения от себя и даже тайного самодовольства, — народ смотрел на Брежнева и чувствовал себя умней своего правителя. Это создавало некоторое единство народа с интеллигенцией. Интеллигенция научила народ утешаться политическим анекдотом, а народ научил интеллигенцию пить не закусывая.

На сегодняшний день революционная перестройка реально принесла нам хотя еще и не полную, но неслыханную по своей широте с октября семнадцатого года свободу печати. Только гласность, доведенная до абсолютной демократической полноты и законности, гарантия и всех остальных изменений, которые позволят нам взамен идеологической химеры создать правовое государство.

Гибель идеологии, как бы к ней ни относиться, — явление трагическое. Когда лиана, обвивающая дерево и питающаяся его соками, начинает сохнуть, это значит, что у дерева иссякли соки. Сегодня обнажилось со всей ясностью, что народ наш, крученный-перекрученный за годы унижения и лжи, хотя и исхитрился выжить, тяжело болен. Для выздоровления ему нужны правда, хлеб и надежда.

Хватит высокопарного избранничества, хватит галлюцинировать в сторону прекрасного грядущего.

Народ не может и не должен жить дальней целью, ибо дальняя цель всегда служит оправданием ближайшему мошенничеству.

Великие религии тысячелетия назад выработали универсальные истины, необходимые для нормальной жизни: не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай ближнему того, чего не желаешь себе, в поте лица зарабатывай свой хлеб.

Цель государства — регулировать жизнь народа в свете названных и подобных им истин, а не пытаться воплотить в жизнь фантазии того или иного мыслителя. Фантазия одного мыслителя может низвергаться

критикой другого мыслителя, государство здесь вообще ни при чем. Попытка создать философское государство привела к тому, что философию отняли у философов и низвели ее до уровня сельского писаря. Иначе и не могло быть.

Культь будущего, ставший религией нашего государства, глубоко унизителен и вреден для человека. Человек рожден, чтобы реализоваться в собственной жизни. Он должен чувствовать себя самодостаточным в свое собственное отпущенное ему природой время. Если в настоящем мы усваиваем мысль, что человек будущего лучше нас уже в силу того, что он человек будущего, то мы в настоящем хуже, чем мы могли быть, ибо стоит ли стараться, если все, что мы делаем, будет другими сделано лучше.

Ошибка всех социальных утопий в утверждении возможности создать такое общество, где торжество добра будет полностью обеспечено самой структурой этого общества и злые силы будут изгнаны из человеческой жизни.

Но этого никогда не будет. Тип социальной системы может облегчить человеку движение к добру или, наоборот, стимулировать в нем злые начала, но конечный и главный выбор всегда остается за человеком.

Так будет всегда, ибо всегда человека будет пытаться соблазн. Формы соблазна изменчивы, но суть остается. И поэтому совесть человека никогда не освобождается от субъективных усилий оставаться в рамках добра, от воли к добру, от внутреннего напряжения. Освобождение человека от этой борьбы означало бы его духовную смерть.

Но если состояние совести в человеке главное, то человек во все времена — в прошлом, в настоящем, в будущем — может быть полноценным, и нам совершенно незачем подобострастно смотреть на человека будущего. Дай Бог нам сделать свое дело и не перекладывать на человека будущего то, что мы обязаны сделать сегодня.

Жизнь — творчество. И крестьянин, работающий на своем поле, и художник, пишущий картину, стремятся самоосуществиться как человеческая личность. Сделать как можно больше и как можно лучше — в самой природе творчества. Стремление к изобилию — в природе человека. Только сделал больше, чем ему надо, человек до конца уверяется в том, что он сделал столько, сколько ему надо. Как говорят, от души.

Излишек, изобилие есть полнота признака творчества, его игра и, что еще важнее, его свобода. Без свободы нет творчества. Поэтому работа крестьянина под идеологическим оком бригадира или работа художника под идеологическим оком цензуры, переставая быть свободной, перестает быть творческой. Такая работа угнетает, и уже сам угнетенный работник старается всякими хитрыми способами формализовать ее и довести до убогого минимума.

Нетрудно заметить, что в идеологизированном обществе все более или менее крупные таланты входят в трагическое противоречие с идео-

логией. Даже те, которые субъективно, казалось бы, согласны с ней примириться.

Конечно, можно сказать, что талантливые люди независимы, а идеология требует покорности. Это верно, но главное, мне кажется, не в этом.

Совершенство таланта самим своим существованием бросает скептическую тень на долгий идеологический путь развития человека. Талантливый человек потому и талантливый, что он уже самоосуществился как личность и сделал это без помощи идеологии. Зачем Шалапыну ждать коммунизм? Неужели, даже если он и дождетя его, он будет петь лучше? Как-то слишком ясно, что он не будет петь лучше. Как-то слишком ясно, что он достиг своего совершенства каким-то другим и притом более коротким путем.

А это идеологии обидно. И обидно, и опасно. Люди догадываются, что есть другой, более плодотворный путь для развития таланта. Оказывается, без собраний, без пятилеток, без пропаганды одаренный человек может сам совершенствовать свой дар. Тогда зачем путь, указанный идеологией?

Мне могут возразить, что он был рассчитан на миллионы простых людей, а не на таланты. На самом деле и с «простыми» людьми все обстоит точно так же. В каждом нормальном человеке есть крупинка одаренности, и принцип самоосуществления такой человеческой личности тот же, что и у ярко одаренной. Разве во время короткого нэпа мало было прекрасных крестьянских хозяйств, которые расцвели за несколько лет свободы? Идеология должна была расправиться и с Шалапыным, и с одаренным крестьянином, потому что, самоосуществившись, они портили ей песню, указывали другой путь, более человеческий.

Разве теперь не ясно, что величие, красота, счастье, достаток человека не только не требуют долгого идеологического пути, но, наоборот, всегда на этом пути гибнут?

Я уже говорил, что идеологизация приводит ко всеобщему падению мастерства. На известном этапе развития общества, когда уже в идеологию мало кто верит, но еще боятся, происходит молчаливый договор между идеологией и народом. Народ делает вид, что не замечает явных противоречий идеологии, а носители идеологии делают вид, что не замечают всеобщей трудовой недобросовестности. Халтура, блат и воровство правят страной. Деградация народа принимает неслыханные масштабы.

Видимо, человек и вещь, созданная его руками, находятся между собой в таинственных, глубоких, интимных отношениях. Вещь, сделанная мастером, обогащает его ровно настолько, насколько он вложил в нее душу. Хорошо сделав свое дело, человек доволен собой, весел, добροжелателен, смело смотрит в будущее.

И наоборот, человек, создающий уродливые вещи, дичает, озлобляется, ненавидит себя и окружающий мир. На нем грех и проклятие изуродованной вещи.

Мир, который мы сейчас пытаемся строить на обломках идеологии, должен быть обыкновенным человеческим миром, где нет места жестокой и слабоумной гордыне первопроходцев. Это нормальный мир, которым живет цивилизованное человечество, омываемое как теплыми, так и холодными морями. Отречение от идеологизации не должно превращаться в новый вид идеологизации, в новую ненависть.

Надо создать условия для возрождения мастера, и мастер, возрождая себя, возродит страну. Пусть никто не унизит его указующим перстом или рабской оплатой труда. И пальцы мастера затоскуют по глине, и глина затоскует по сильным пальцам мастера. Пусть он лепит что хочет, и он в конце концов вылепит человеческий облик страны. Я верю в мастера.

## ПОЭТЫ И ЦАРИ

На мой взгляд, идеальное государство — это такое государство, о существовании которого мы вспоминаем один раз в году при виде налогового уведомления.

Чем хуже государственное устройство, тем больше мы о нем думаем. Чем больше мы о нем думаем, тем меньше мы занимаемся своим делом. Чем меньше мы занимаемся своим делом, тем хуже государство. Есть ли выход из этой дурной бесконечности?

Иногда хочется огрызнуться словами поэта: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас!»

Но тут всплывают слова Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Хочется крикнуть: «А ты не оглядывайся!» Но, видно, нельзя не оглянуться, не получается.

Иногда думается, как и сто лет назад: может, наша страна слишком огромна и от того наши беды? Может, благополучие народа зависит от количества разума на единицу государственной площади?

Озираясь на русскую литературу девятнадцатого века, видишь не только великих художников, но и политических борцов, иногда создателей государства в государстве.

Взаимозакисненность писателя и власти удивительна. Начиная с Пушкина, власть не сводит глаз с писателя, но и писатель не сводит глаз с властей.

За свободолюбивые юношеские стихи Александр Пушкин был сослан в Бессарабию Александром I. В бурной душе молодого Пушкина, кажется, должны были прозвучать такие слова: «Не ты, а я царь! И я это тебе докажу!»

И доказал. Все творчество Пушкина можно рассматривать как особый вид доказательства: власть духа выше власти силы. Нстойчивые, сладострастные воспевания Петра Великого отчасти намека на ничтожность, плюгавость современных ему царей.

Медный всадник, скачущий по мостовым Петербурга, кажется, призван пугать не только Евгения, но и обитателей Зимнего дворца. Во всяком случае, Николай запретил печатать «Медного всадника». А случа-

ен ли Гришка Отрепьев, Пугачев в заячем тулупчике с барского плеча? Так, похаживают, чтобы цари не забывались.

Сама возможность двойничества, самозванства вносит оскорбительную сомнительность в абсолютную власть царей. Пушкин как бы говорит: «Меня, Пушкина, заменить нельзя. А вас можно».

В какие бы дали свободного романа ни уносился Пушкин, он не забывал своих соперников по трону духа, своих гонителей и обидчиков. В итоговом «Памятнике» не случайно:

Вознесся выше он главою непокорной  
Александрийского столпа.

Еще доклокатывает страсть уходящей жизни: главою непокорной. Но последняя обрывистая строка овеяна не только гордостью, но, если вслушаться, можно уловить в ней и призыв грусти: а стоило ли состязаться? И не доясняет ли причину этой тайной грусти концовка «Памятника»:

И не оспаривай глупца.

Однако спор продолжается. Рыком раненого льва встретит Лермонтов смерть Пушкина и примет опалу, как эстафету. Через много лет из Ясной Поляны бывший артиллерийский офицер Лев Толстой несколькими тяжелыми снарядами обрушит последний бастион николаевской эпохи. У него будет свой счет, но это и месть за Пушкина.

Вот кто действительно победил всех царей, императоров и президентов. Вот он стоит, с рукой засунутой за пояс, и смотрит на нас прямым, немигающим взглядом. Мужичкий царь! Гордыня правоты! В неслышанной ясности слога беспощадное понимание хронической тупости человечества! Ясности, полной ясности! Чтобы ни один человек потом не сказал: «Я это не так понял».

Знает ли он, что и через сто лет ни один серьезный писатель планеты, засев за книгу, не сможет не учитывать могучую магнитную аномалию Ясной Поляны?

Что ему Петр Первый, что Наполеон? Убийца не может быть великим, он может быть только мерзавцем. И он спорит с царями в творчестве и в жизни. Русским царям хватило ума не посадить его в тюрьму, чего он жаждал, и не хватило подлости устроить что-нибудь вроде случая на охоте.

Да и что ему цари, когда он один с каменным топором логики в руках уже пытается остановить громыхающие обозы мировой цивилизации. Думаю, не потому, что был против нее вообще, а потому, что звериным чутьем угадывал ее опасную неподготовленность.

Не представляю Толстого, живущего на земле во время безумия

первой мировой войны. Хочется думать, что организаторы бойни так и не решились начать при нем.

Но вот он умер, и все рухнуло. Говорят, последними его словами были: «Не понимаю...» На языке этой жизни он хотел понять если не ту жизнь, то хотя бы смысл смерти. Всю жизнь от жизни требовавший ясности, он и от смерти требовал ее. Но не дождался и честно передал это людям: «Не понимаю».

Можно и так расшифровать его слова: «Там что-то происходит, но что именно, понять не могу».

Из всех больших русских поэтов послереволюционной России Маяковский первым прервал великую традицию спора с царями. Дело, конечно, не в том, что спорить с вождями революции стало куда опасней, чем спорить с царями. Если б это было так, обязательно в стихах кое-что осталось бы. Вдохновение озаряет душу поэта моментальными снимками и обнажает то, что сам поэт может и не замечать. Образ, созданный поэтом, который одновременно раскрывает его сильную и слабую стороны, он изменить не может, если сокрытие слабостей влечет за собой искажение образа. Настоящему художнику цельность его метафоры важнее его личной репутации. Так что дело не в этом, а совсем в другом.

Маяковскому от природы было дано сознание большого трагического поэта. Сознание это оказалось для него непосильной ношей. Все его дореволюционное творчество — боль, ярость, ненависть.

Как бешеный бык с налитыми кровью глазами, он кружился по дореволюционным аренам России. Ему было очень плохо. В стихах постоянные угрозы самоубийства.

Кстати, насколько я помню, из больших наших поэтов только Маяковский, Есенин и Цветаева писали о самоубийстве и все трое покончили с собой. Не знаю, пророчество ли это или страшная реальность их жизни: кто часто зависал над пропастью, один раз мог и сорваться. Все-таки я предостерег бы поэтов писать на эту тему.

Это как если повторять человеку одно и то же, а он не понимает. И ты срываешься в крик. Самоубийца, вероятно, повторяя жизни одно и то же, неожиданно срывается в крик.

Маяковский об этом писал чаще всех. Он ждал, что должна случиться какая-то внешняя катастрофа, которая избавит его от внутренней.

При гипертрофированности его поэтического сознания, он вполне мог чувствовать себя сейсмическим аппаратом, предсказывающим близость этой катастрофы. Если бы он жил в Японии, вероятно, он предсказывал бы неслыханное землетрясение. Но где взять землетрясение в долиненной России, и он предсказывал революцию.

И вдруг революция свершилась. Как человек, на котором горит одежда, бросается в реку, он бросился в революцию. Содрал с себя горящую одежду трагического сознания и как будто выздоровел и влюбился

в Ленина. Так пациент психиатра может влюбиться в своего врача, избавившего его от великой боли.

Тогда понятно, почему футурист Маяковский, сбрасывавший своих предшественников с парохода современности, как пьяный со стола бутылки, не мог вступать в спор с Лениным.

Ленин сделал революцию. Революция избавила Маяковского от боли. Завтра она весь мир избавит от боли. Если мир этого сегодня не чувствует, то только потому, что он не может быть таким чутким, как поэт. Он, Маяковский, и боль сильнее всех чувствовал как поэт и по этой же причине сейчас чувствует, что боль стихает. Он верит! Революция пришла, чтобы мир избавить от боли — и потому он ощущает, что боль действительно стихает. Такова сила самовнушения этой мощной и одновременно суеверно уставившейся в будущее личности.

Революция снимает боль — и вдруг уже после революции опять выброс страшной боли — поэма «Про это». Любовь не получается и после революции. Как понять? И снова нахмуренный, суеверный взгляд в будущее — все ответы там. И ответ приходит. Очень просто. Революция победила только в России, а поэт всемирное вместилище боли. Надо, чтобы революция победила во всем мире, и тогда уже действительно никогда не будет боли.

И этот выход из трагедии, кажущийся столь фантастичным в жизни, получается убедительным в поэме. Такова особенность Маяковского. Только через грандиозное преувеличение проявляется истинная реальность его поэзии.

Если не считать этой его поэмы, практически почти все послереволюционное творчество Маяковского действительно поздоровело и, увы, во многом поглупело. Только изредка вскинется прежний Маяковский — и снова сложит крылья, словно боясь, нет, именно боясь пробудить старых демонов сомненья.

Бунтарь притих. Отныне все измеряется революцией. Нет мелкого дела: Фелиция, милиция, сапожники, пирожники, пьяницы, ударницы — всех, всех наставит на путь истины. Кого юморком подбодрит, кому и тюрмой пригрозит.

Тот ли это гордый, трагический юноша, обещавший повести за собой Наполеона как мопса? Сидит себе и вяжет чулок, как в хорошем сумасшедшем доме. Его меланхолическое указание на то, что это он вяжет чулки для санкулотов, ничего не проясняя, усугубляет наши подозрения.

И, конечно, пишет стихи о Ленине. После смерти Ленина создает о нем поэму. Странно, что при всей искренности его любви к Ленину у него ничего не получается. Такое впечатление, что ему не за что уцепиться. Получается голая риторика. Он никак не может связать Ленина со свойственным собственной природе трагическим сознанием. Он сам от этого сознания отгородился и сам через Ленина пытался создать



оптимистическую поэзию. Видно, тут концы с концами не сходятся, и Ленин получается у него слишком плакатным.

Интересно, что Пастернак в «Высокой болезни» с одной попытки берет вес и талантливо рисует портрет Ленина, разумеется, в духе времени сильно идеализированный:

Он управлял течением мыслей  
И только потому — страной.

Это, конечно, упрек вождям, которые пришли после Ленина. Здесь Пастернак идет вслед за Пушкиным. Так Пушкин кивает на Петра.

Но действительно ли он управлял полетом мыслей? Я хочу понять этого человека. Я листаю его статьи, вчитываюсь в них, стараюсь уяснить, что стоит за этой многообразной ненавистью и однообразной скукой. И вновь убеждаюсь, что ничего не стоит, кроме самой ненависти и скуки. Повсюду я чувствую энергию бодающего ума, но нигде не проникаюсь красотой глубокой мысли, потому что таковой нет. Да и не может быть, строго говоря.

Пафос Ленина — не истина, а цель, понятая как истина. При таком психическом складе все, что тормозит движение к цели, отбрасывается с величайшим презрением. Сомнения, остановки, раздумья порождают глубокую мысль. Но я ни разу не встретил в его статьях и письмах сомнения.

Мысли, афоризмы, точные наблюдения над человеческой природой, высказанные великими историческими деятелями, остаются с нами независимо от нашего отношения к этим деятелям. Я ни разу не слышал, чтобы люди, связанные с культурой, перебрасывались ленинскими афоризмами.

Говорят, он был гением взятия и удержания власти. Не знаю. В одной из записок гражданской войны Ленин пишет каким-то начальникам: надо увеличить хлебный паек железнодорожникам, чтобы они лучше работали, и соответственно снизить хлебный паек остальным гражданам. Пусть умрут еще тысячи людей, зато мы спасем страну.

Так он пишет. Что ж тут гениального? И таких записок много. А вот его пророчество. В речи перед комсомольцами он говорит, что они, комсомольцы, через двадцать лет будут жить при коммунизме. Мог ли такое сказать проницательный человек, да еще сделавший своим богом контроль и учет?

В нравственном облике великого борца с обществом эксплуататоров забавная черта: всю жизнь нигде не работал, всегда жил на чужие деньги.

А между прочим, насколько я помню, анархист Кропоткин считал делом абсолютно принципиальным, чтобы социалист-революционер своим собственным трудом зарабатывал свой хлеб насущный. И сам всю жизнь кормил себя своим трудом.

Ленин же, начиная с шушенской ссылки, где содержался на вполне приличный государственный кошт, совершенно беззастенчиво теребит мать-пенсионерку: шли деньги, шли деньги. Как-то даже неловко читать эти письма. Хочется отвернуться, не видеть, не слышать.

Позже, живя многие и многие годы за границей, он рассылает письма во все концы света и особенно в Россию с просьбами, легко переходящими в требования, выслать деньги по его адресу.

Любимое занятие его в это время — женить какого-нибудь шалого большевика на богатой купеческой вдове. Понятно, с какой целью. Где ты, свободный от денежного мешка, социалистический брак? Вообще, когда в письмах речь идет о том, чтобы у кого-то выщарапать деньги, его сухой стиль революционного столоначальника приобретает оттенок некоторой коровьей игривости.

Нет чтобы по семейной традиции пойти поработать в какую-нибудь жевевскую гимназию. Хоть на полставки, как сейчас говорят. Ведь вполне интеллигентный человек со знанием языков. Куда там! Ну, что ты, Коба, замешкался? Где мой любимый Камо?

А как обстоит дело с созидательными идеями? Насколько я знаю, именно он придумал соцсоревнование, которое должно было подхлестнуть трудовой азарт рабочих. До сих пор подхлестывает. Могло ли такое прийти в голову серьезному государственному деятелю? И почему он не подумал, что рабочие уже сотни лет трудятся на предприятиях капиталистов, а те почему-то не догадались таким простым способом повысить производительность труда.

Кстати, обреченность оппозиции Сталину, думаю, была predeterminedлена Лениным. К тому времени Ленин уже стал благостной легендой, и оппозиционеры, пытавшиеся защититься от Сталина при помощи Ленина, слегка подзабыли его тексты. Но обратившись к реальным текстам Ленина, они должны были с ужасом отпрянуть: Сталин не ловится! Сталин эти тексты только слегка упростил, доведя их до уровня понимания своих костоломов. Но вместе с тем он снял с них и оттенки холодной революционной колючести, придавая технике убийства партийно-семейную ритуальность.

Но ведь Ленин победил? Да, но это не было победой разума, это была победа над разумом. В мире побеждает то страсть, то разум. Так было всегда. Страсть — вторая логика. Вера в чудо порождает реальное чудо: чудо напора. У Ленина хватило страсти победить разум, но не хватило ума понять это.

Предмет его постоянной, глобальной ненависти — три кита мирового духа: религия, мораль, культура. Но это и есть разум человечества. Ленинский хищный, пристальный рационализм не должен вызывать сомнения в том, что он борется именно с разумом.

Знаменитое: и кухарка будет управлять государством! — это не ложный гимн народовластию, а злорадное выражение возмездия разуму. Изгнание философов из России — это тоже по-своему честное стремление

провести эксперимент в чистом виде: отныне Россия обойдется без разума. И словно доводя идею борьбы с разумом до абсолюта, он сам лишается его вследствие апоплексического удара. И теперь победившая революция пьет, закусывая собственными мозгами.

Но теоретически говоря, здесь ничего нового нет. Все попытки изобрести гармоническое общество всегда сводились к борьбе с реальным разумом. Логика революционера проста: в мире испокон есть ложь и есть разум. Если разум не изгнал ложь, значит он ее обслуживает, прикрывает. Рационалист не понимает мистическую взаимосвязь разума и лжи. Он не понимает, что никогда разум не победит ложь до конца. Он ее может только ограничивать. Разум, как и ложь, есть порождение самой жизни. До конца уничтожить ложь означало бы уничтожить самую жизнь.

Отсюда печальная осторожность разума. В борьбе с ложью разум интуитивно склонен не добрать, чем перебрать и уничтожить равновесие жизни.

И точно так же по внутренней своей сущности ложь, будучи выражением зла и безумия, стремится к полному уничтожению разума, не понимая, что это означало бы уничтожение самой жизни, а следовательно и лжи.

И в этом трагизм разума. Но если идет вечная борьба добра со злом или разума с ложью на столь неравных условиях, и зло до сих пор никак не может одержать решительной победы над добром, как не поверить в таинственное преимущество добра, его божественную предопределенность?

И это заставляет подумать вот о чем. Видимо, психологическая установка по отношению к жизни верующего и неверующего человека имеет принципиальное отличие.

Верующий человек, как бы он ни был одарен, гораздо менее, чем неверующий, склонен самоутверждаться среди других людей. Его честолюбие направлено по вертикали и всегда ограничено любящим признанием невозможности сравняться с Учителем. Он вечно тянется вверх, заранее зная, что нельзя дотянуться. И самим настроем своей природы он не может стремиться к коренным, внезапным изменениям в жизни человеческого рода, поскольку не может и не хочет заменять собой Учителя.

Наоборот, неверующий и честолюбивый человек, не имея этого высокого ориентира над собой, чаще сравнивает себя с живущими рядом людьми и, замечая свое превосходство, постоянно укрепляется в нем.

Достаточно многие реальные примеры превосходства над людьми вырабатывают в нем привычку быть первым. После того, как такая привычка закрепилась в его честолюбивой душе, он, уже встречая людей, которые превосходят его, не хочет уступать, полубессознательно выпячивает недостатки соперника, иногда искренне переставая замечать его достоинства.

Так Ленин сначала был влюбленным учеником Плеханова, а потом решил во что бы то ни стало доказать, что он превосходит Плеханова. Что тут сыграло роль? Боюсь, что ироническая улыбка Плеханова на теоретические выкладки молодого Ленина. Боюсь, что он и отделился от него и создал собственную партию, только бы не видеть эту невыносимую улыбку. Ох, не надо бы Плеханову так улыбаться! Все-таки позади Россия. Волгари, они шутить не любят. Вообще тема нашей диссертации, которую мы пишем под одобряющие кивки доктора Фрейда, — «Ленинская теория диктатуры пролетариата — метафизический бык, покрывающий и вытесняющий ироническую улыбку Плеханова».

Плеханов явно превосходил Ленина в чисто интеллектуальной сфере. Но он так же уступал Ленину в революционной боевитости. По-видимому, Ленин в мучительных раздумьях о своих отношениях с Плехановым еще сильнее подхлестнул свою чудовищную боевитость и в конце концов уверил себя и многих других (но не Плеханова), что такого рода боевитость есть кратчайшая линия к революционной цели и, следовательно, она же есть выражение истины и высшего интеллекта.

Великий садовник революции как учил? Надо начинать трясти ту капиталистическую яблоню, на которой созрели яблоки. Ленин, не отрицая теорию великого садовника, развил ее: яблоню можно трясти и до того, как созреют яблоки, если яблоня поддается тряске. Некогда! Яблоки и на печке дозреют. С этой теорией он и пошел на штурм России.

Эх, яблочко, куда ты катишься?

Последняя насмешка Плеханова настигла Ленина после «Апрельских тезисов». Он высмеял их в своей статье. И была в ней невыносимая снисходительность. Как бы не особенно удивляясь, как бы даже слегка подустав удивляться, он обвиняет его в очередном теоретическом жульничестве.

Этого прощать нельзя. Надо, надо брать Зимний дворец! Первая тряска! Посыпались не очень съедобные министры Временного правительства.

Разгон Учредительного собрания! Вторая тряска! Опять посыпались, уже непонятно черте-кто! И на Ленина, говорят, нашел долгий истерический хохот. Никак не могли остановить! Оказывается, все получается по теории, если рядом с теорией выставить маузер. Вот тебе и улыбка Плеханова! А может, он хохотал над Керенским? Что за пародия, создатель?

Один из Симбирска и другой из Симбирска. Один из учительской семьи и другой из учительской семьи. Один окончил гимназию с золотой медалью и другой окончил гимназию с золотой медалью. Один по образованию юрист и другой юрист. Но тут сходство кончается, вернее, начинается с обратным знаком. Один, сделав закон своим культом, потерял власть. Другой, сделав презрение к закону своим культом, эту власть забрал.

Юный поэт Леонид Каннегиссер, с необыкновенной легкостью, словно хлопнул пробкой шампанского, убивший грозного начальника петербургского Чека Урицкого, в предчувствии собственной ранней смерти писал:

Тогда у блаженного входа  
В предсмертном и радостном сне,  
Я вспомню — Россия, свобода,  
Керенский на белом коне.

Можно сказать, Керенский ораторствует верхом на коне. Ленин ораторствует верхом на броневике. Если для наглядности происходящего прикрыть обоих ораторов, получится — конь против броневика. Исход — очевиден.

Если в одной руке теория, а в другой маузер, оказывается, все получается по теории. Впоследствии кто-то из большевиков, возможно, из гуманных соображений, чтобы не пускать в ход маузер, отбросив теорию, дабы освободившейся рукой дать подзатыльник, а не нажимать спусковой крючок, сделал невероятное открытие. Оказывается, если в одной руке маузер, и без теории все получается, как по теории. Впоследствии так и пошло. Сама исправность работы маузера стала универсальным доказательством правильности теории.

Сегодня, когда и в мировом масштабе, как я думаю, дело Ленина проиграно, хочется понять: что им двигало?

Гибель любимого брата? В отличие от своих чегемцев, я в это плохо верю. Он как-то нигде не проговаривается. Может, из какого-то высшего целомудрия затаил? Но так, но настолько затаить — невозможно.

Пусть наивное в юности, но страстное романтическое желание счастья России и всему человечеству? Нету, не видел соответствующего текста, где бы неожиданно прорвалось личностное, лирическое чувство. Революционной риторики много, но она сердцу ничего не говорит. Но, может быть, он как марксист отдельно возлюбил рабочий класс? И этого нет. Даже если пишет о расстреле рабочих, он нетерпеливо спешит использовать несчастье на благо революции. Словно гонит призадумавшихся над могилой рабочих: «Чего стали, товарищи? Все на митинг прота!»

Остается честолюбие. Революционное честолюбие. Карьера навыворот, но все-таки карьера. В те времена авторитет революционера, заступника народа, был невероятно высок. Так сложилось общественное мнение. Революционеров прятали даже генерал-губернаторы. Попробуй не спрячь, знакомые руки не подадут.

Запад в результате революций и реформ утвердил в Европе равенство сословий. В России реформы запаздывали. Именно потому, что они запаздывали, наиболее совестливая часть общества не только говорила о своей вине перед народом, но и всячески утверждала мысль, что

народ выше интеллигенции. Недоданное социально возмещалось поэтически.

Когда этим занимаются такие люди, как Тургенев, Толстой, Достоевский, — общественное мнение становится делом национальным. Гений выдает за коренное свойство народа такие черты, которые ему менее всего присущи, но более всего необходимы.

Разумеется, эти черты он не выдумывает, он их берет из жизни народа, но с огромной ностальгической силой преувеличивает. Тут такой закон: самое редкое, самое поэтическое. Но поэт потому и поэт, что стремится к самому поэтическому. Самую далекую правду он изображает как самую близкую. Глубина и тонкость русской литературы была реакцией на грубость и отсталость российской жизни. Кстати, великая немецкая музыка и философия не есть ли такой же ответ на приземленность бюргерской Германии?

Гораздо позже этот культ народа среди многих причин облегчил победу Октября. Люмпен, потрошитель интеллигенции, в известной мере был ею же подготовлен. От нее он узнал, что он всегда прав.

Но так или иначе, случилось грандиозное событие — революция. Верх ушел вниз, а низы стали подниматься наверх. Прошлое кончилось, и поэтому все смотрели в будущее, как в единственную оставшуюся и потому правильную сторону.

Маяковский, засучив рукава, начинает создавать миф о революции и революционном государстве. Одновременно это и курс лечения от трагического сознания. Гете, чтобы избавиться от высотобоязни, заставлял себя почаще подниматься на высокие башни. Маяковский, чтобы избавиться от патологической брезгливости, упорно роется в мусорной яме новой жизни. Правда, только в стихах.

Родина заброшена в будущее. Все плывут. В этом будущем с государством не спорят. Поэты вместе с вождями закаляют душу солдат для мировой революции. Скоро, скоро начнется всемирный заплыв. Где ты, Мао, где ты, Янцзы? О чем спорить?

Все равны. Все взаимозаменяемы. Вождь в свободное от революции время таскает бревно (показать снимок или рисунок? Крупным планом), поэт учит сограждан плевать в плевательницы, крестьяне то попадут землю, то попишут стихи, начальник над всеми продуктами Цюрупа падает в голодном обмороке, из чего совершенно явно следует, что он не крадет продукты. А ведь мог.

Но ведь была же какая-то сверхзадача у Маяковского, когда он создавал этот миф? Я думаю, была. Он мечтал, чтобы люди, потрясенные красотой мифа, начали жить в согласии с ним, и тогда окажется, что никакого мифа не было, все окажется правдой.

Поразительна поэтическая честность, с которой он служил идеологии. Во всем его громадном послереволюционном творчестве не было ни единого стихотворения, которое сознательно в чем-либо отступало от нее. Уже не говоря о споре.

Он был более предан идеологии, чем сами творцы ее. Поистине трагическая преданность. Он любил Ленина, но любовь эта так и осталась без взаимности. В сущности, он раздражал Ленина: кричит, выдумывает слова. Кость, брошенную по поводу «Прозаседавшихся», трудно назвать признанием: мол, политически правильно, а поэтически не знаю.

Кстати, отзыв Ленина об этом стихотворении очень напоминает отзыв Николая Первого о «Ревизоре». И там и тут хозяин доволен работником. Хозяева разные, но расстояние до работника одинаковое.

В последующие годы лучший певец идеологии на подозрении у идеологических вождей: попутчик. Что это означает на языке тех лет? Не наш, но пока пусть шкандыбают.

Избыток его преданности раздражал. Он был и физически слишком большой, его было слишком много. Его избыточная преданность как бы взывала к ответной преданности и грозила скандалом. Он как бы умолял партийцев, уже привыкших к сытой жизни, во имя революции время от времени брякаться в голодном обмороке Цюрупы, а они, естественно, этого не хотели.

И скандал разразился. Он покончил с собой в год великого перелома. Видимо, понял, что дальше творить миф о революции нельзя. Игра проиграна. Платить нечем. Так в старой России уходили из жизни, проиграв то, чего проигрывать нельзя. Уходили из жизни, но спасали честь. Он, сравнивавший себя с одиноким влюбленным пароходом, остался один на тонущем корабле революции, когда команда вполне благополучно с женами, детьми, любовницами сошла на завоеванный берег.

Невероятно, что, задумав умереть, он еще пишет поэму «Во весь голос». Вещь бетховенской силы, как бы написанную уже оттуда. И она, завершая миф, вливает в него свежую кровь самоубийцы.

В едином дыхании поэмы только в одном месте как бы наспех заткнутая пробоина:

...И мне бы строчить романсы на вас —  
Доходней оно и прелестней.  
Но я себя смирял, становясь  
На горло собственной песне.

Каждый непредубежденный человек, если не совсем бегло читает эти строки, не может не обратить внимание на противоречие между первыми двумя строчками и последними. Неужели тяга к романсам была так сильна, что поэт вынужден был идти на этот страшный, преступный подвиг? И неужели он, великий лирик, тягу в свой родимый дом не мог обозначить более достойными словами?

Здесь что-то не так. Скорее всего две последние строчки — это задуманный крик ужаса при виде черной, бессмысленной жестокости революции. При этом песня, которую он душит, так сильна, что сил рук не хватает и он вынужден наступить ей на горло, как победивший дикарь.

Первые две строчки скорее всего — бессознательное сокрытие истинной причины убийства песни и последующего самоубийства. Задушенная песня пришла за душой поэта.

Грех матери, убившей своего ребенка. Грех поэта, задушившего свою песню. Песня-плач, песня-несогласие для него было изменой революции, которая, как он думал, спасет его и спасет мир. И он душит ее, как Отелло Дездемону. И как Отелло, он мог бы сказать: «А разлюблю, тогда наступит хаос». То есть, если он разлюбит революцию, мир развалится на куски. Значит, надо не видеть ее жестокости, и что еще страшней — ее пошлости. Терпеть и воспевать. Но сколько можно? И задушенная песня приходит за душой поэта. И так, и так — крышка. Где же выход? Не играй в чужие игры, даже если они сулят спасение тебе и миру.

Кажется, он смутно догадывается об этом в отрывках другого вступления в поэму. Здесь Маяковский по ту сторону мифа о революции, хотя стоит рядом. Можно заподозрить, что эти отрывки (подкаламбурим в духе Маяковского) были подлинней и потому подлинней, но мы ничего не знаем по этому поводу. В сохранившемся отрывке сумрачное, грозное погромыхивание в сторону новых хозяев России. Этого раньше никогда не бывало.

Я знаю силу слов. Я знаю слов набат.  
Они не те, которым рукоплещут ложи.  
От слов таких срываются гроба  
Шагать четверкою своих дубовых ножек.  
Бывает, выбросят. Не напечатав, не издав,  
Но слово мчится, подтянув подпруги.  
Звенит века. И подползают поезда  
Лизать поэзии мозолистые руки.

Похоже, что здесь он хочет жить традиционной судьбой российского опального поэта. Разве революционный Маяковский не жаждал аплодисментов лож? Еще как жаждал. И, случалось, ложи аплодировали ему.

«Бывает, выбросят. Не напечатав, не издав» — о ком идет речь? Мы не знаем ни одного не напечатанного стихотворения послереволюционного Маяковского. Он как будто примеривается к классической судьбе российского поэта от Пушкина до своих современников, которых уже достаточно успешно не печатали в наши хваленые двадцатые годы. Но сил у Маяковского уже, видимо, не было начинать новую судьбу.

Так закончилась попытка великого поэта придать поэзии мощь государственной воли, а государственной воле видимость поэтической свободы.

У поэта и государства совершенно разные задачи, и решать их они



должны, держась подальше друг от друга. Поэт может только мечтать, чтобы совершенство строки порождало жажду совершенства мира.

Стиль художника — ответ на все вопросы, которые ставит перед ним жизнь. Никакого другого ответа у художника нет, даже если он сам по человеческой слабости к этому стремится. Стиль художника — окончательная и бесповоротная победа разума над хаосом действительности.

Я думаю, что стиль «Мертвых душ» Гоголя уже заключал в себе идею второй части «Мертвых душ», то есть победу над глупостью. И никакой необходимости во второй части не было. Пафос служения добру превзошел возможности стиля, и Гоголь от этого погиб. Пушкин это знал, даже не задумываясь. Уверен, если бы он был жив, он одной улыбкой пригасил бы пафос Гоголя и спас его. Но Пушкина уже не было.

Стиль — дело крестьянское. То есть идея окультуренного, огороженного цветения. Стиль — дальше нельзя. Хочешь дальше? Освой, обработай кусок целины — и настолько же иди дальше. Толстой пахал, чтобы соответствовать своему стилю, уточняя глубиной пахоты нажим пера.

Стиль — лучше лежать в своей могиле, чем кувыряться в мировом пространстве. Стиль — укорененность. Поэтому стиль — враг всякой революции.

Достоевский — самый неукорененный из русских писателей. По логике он, вероятно, должен был стать самым революционным нашим писателем. Так он и начинал. И вдруг — арест петрашевцев. Эшафот. Ожидание казни, которую в последний момент карнавально отменил Николай. Не отсюда ли карнавальный стиль великих романов Достоевского?

Почему Николай I устроил этот мрачный спектакль? То ли казненные декабристы мучали его совесть и он как бы играл вариант милосердия, чтобы избавиться от назойливых теней непоправимого варианта? Мол, могло быть и так. Кто виноват? Сами виноваты. То ли опыт долгого сурового правления государством убедил его, что смертный страх работает лучше смерти, если ее эффектно отменить в последний миг? Не знаю.

О чем думал Достоевский в ожидании казни? Все гениальные мысли просты. Там, на эшафоте, за какие-то минуты до смерти его, вероятно, поразила мысль о бессмыслице эшафота. Неудачная революция, хотя в данном случае ее не было, приводит людей к эшафоту. Но удачная революция приводит к эшафоту тех, кого свергает она. И человек всей потрясенной душой перед смертью вдруг почувствовал несоизмерность цели и платы для обеих сторон. Эшафот — тупик. Значит, и революционный путь — тупик.

Где же выход? Так мы простоим на одном месте и тысячи лет. Ну и простоим. Слава Богу, солнце светит, ветер шумит в листве, дети сме-

ются. Жизнь продолжается. Раз человеку дана жизнь, ответ должен быть в самой жизни. Иначе она не была бы дана.

Нетерпение в отношении к жизни в ожидании ответа есть форма неуважения к самой жизни. Но если ты самую жизнь не уважаешь, как ты ради этой жизни идешь на эшафот или тем более отправляешь другого?

Жизнь не может сама себя приводить к эшафоту. Значит, это путь в сторону от жизни. Если взрослый человек за свои грехи может быть казнен, значит, и ребенок может быть казнен. Казнь ребенка за грехи? Чудовищная бессмыслица.

Вы скажете, что у ребенка нет таких грехов, чтобы его казнили? Но это арифметика. Извольте. У ребенка маленькие грехи, так его и лишают маленькой еще жизни. Степень оправданности топора не может определяться степенью нежности шеи. Нежность шеи должна отрывать наше опьяненное возмездием сознание и привести к неизбежной мысли, что всякая шея слишком нежна для топора.

Революция — праведная ярость слепого. Что может быть страшнее ярости слепого с топором в руке? Кто первым подсунет топор, тот первым и отскочит, хотя и не всегда удачно. Могут сказать, что приход революции от нас не зависит. Но от нас зависит мощь и полнота ее неприятия. И никто не измерил, насколько зависит сама возможность революции от мощи и полноты нашего неприятия ее.

Мне кажется, там, на эшафоте, как на последней странице задачника жизни, Достоевский увидел страшную ошибку любого революционного ответа. И если даже больше никогда в жизни он силой вдохновения не подымался до этой высоты, зарубка осталась. Он по памяти восстанавливал эту высоту.

В сущности, все его великие романы — это романы покаяния от соблазна революции. Можно представить, что без потрясения эшафотом они были бы с обратным знаком. Например, вместо «Преступления и наказания» — «Мнимое преступление Раскольникова». Вместо «Бесов» — «Кровавые Ангелы».

Революция требует не только достаточного количества неукорененных людей, и они в России уже были: революционная интеллигенция, дезертиры, городской и сельский люмпен. Она требует и полусочувствия ей со стороны значительной части народа, которая про себя рассуждала примерно так: менять все, вероятно, надо, но менять, вероятно, должны другие люди... Но за отсутствием других меняют те, кто хочет менять.

Революция может быть удачной и неудачной. Это случайность. Но в обоих случаях не случайна критическая масса риска. И при удачной революции критическая масса риска может быть сравнительно небольшой. Но она бывает достаточной и чувствует себя достаточной, когда среди остального населения нет критической массы людей, готовых решительно защищаться. Думаю, поэтому революция в России победила.

После революции, как ни осложнялись судьбы поэтов, спор с царями продолжается. Ахматова, Цветаева, Булгаков, Есенин, Мандельштам, Платонов — каждый по-своему взрывается несогласием. Чтобы легализовать это несогласие, часто меняются имена и страны. Мандельштам пишет:

В Европе холодно. В Италии темно.  
Власть отвратительна, как руки брадобрея.

Вспомним строчку его же стихов о Сталине:

Его толстые пальцы, как черви, жирны.

Сравниваем рисунки и убеждаемся, что эти толстые пальцы принадлежат рукам вышеуказанного брадобрея. И с полным основанием возвращаем его из Европы на его историческую Родину. Страшной силы образ:

Власть отвратительна, как руки брадобрея.

В одной руке бритва, другой лапает тебя за лицо. Дело не только в том, что может полоснуть. Дело в какой-то неприличной неопределенности положения клиента власти и клиента брадобрея. И та и другой как бы в силу профессии имеют право вторгаться в твое существование и лапать, безусловно, твою вещь — твоё лицо. И непонятно, на какой стадии лапанья уже можно, но еще безопасно протестовать. Или раз уж ты в кресле — поздно протестовать?

К тому же вспоминаешь, что это жест уголовного. Так, взяв человека за лицо, уголовник обозначает над ним свою презрительную власть. Выходит, власть (сталинская, разумеется) — это помесь парикмахера с уголовником. Время обрабатывает наше лицо дирижерской палочкой бритвы. Сверкающая палочка так и летает.

Как невероятно за сто лет изменился образ власти и ее жертвы! Пушкинский Евгений бежит по ночному Петербургу от Медного всадника. Хотя и обречен, но все-таки действует. Картина страшна, но не лишена величия.

А тут жертва молча сидит в парикмахерском кресле. И веет жутью от ее безмолвного согласия. А для наблюдателя, не понимающего, что происходит, — это интересный социальный эксперимент. Обе стороны добровольно на него согласились. И это, пожалуй, страшнее всего.

Вокруг знаменитого стихотворения Мандельштама о Сталине уже много говорено. Таинственный звонок Пастернаку с целью выведать его истинное отношение не столько к Мандельштаму вообще, как думают исследователи, сколько именно к этому стихотворению. Но прямо сказать об этом стихотворении Сталин не хочет. Сказать прямо означало

бы признать хоть какую-то зависимость от стихотворения или общественного мнения.

Возможно, он ждет, что Пастернак, как небожитель, проговорится и даст ему оценку. Но Пастернак неожиданно для Сталина осторожничает, не говорит об этом стихотворении. Сталин даже поощряет его смелость, но Пастернак уклоняется. Разговор идет вокруг да около.

Положение Бориса Пастернака сложнее, чем принято думать. Во-первых, он не знает, знает ли Сталин о том, что он знает эти стихи. И что правильной, если Сталин спросит о них, признаваться или нет? Не только в плане личной судьбы, но и в плане судьбы Мандельштама. Ведь на решение Сталина может повлиять и степень распространенности стихотворения.

В этом телефонном разговоре Пастернак вынужден играть на чужом поле. Да еще со Сталиным! Он мучительно ищет способа перевести игру на свое поле, и тогда он гораздо больше сможет сделать, может быть, для понимания правительством искусства и тем самым и для Мандельштама. Наконец, он как будто вырывается. Он говорит Сталину, мол, хочется встретиться, поговорить.

— О чем? — спрашивает Сталин.

— О жизни и смерти, — наконец, четко отвечает Пастернак, чувствуя под ногами родной берег: догреб. Сталин это тоже почувствовал и молча бросает трубку. Ему этого не надо.

Сравнительно легкое наказание Мандельштама за стихи о Сталине — ссылка в Чердынь, на мой взгляд, объясняется прежде всего и главным образом тем, что стихи эти Сталину понравились.

Такое мнение только кажется парадоксальным. Ужас перед обликом тирана, нарисованный поэтом, как бы скрывает от нас более глубокий, подсознательный смысл стихотворения: Сталин — неодолимая сила. Сам Сталин, естественно, необычайно чуткий к вопросу о прочности своей власти, именно это почувствовал в первую очередь.

Наши речи за десять шагов не слышны.

Конец. Кранты. Теперь что бы ни произошло — никто не услышит.

А слова как тяжелые гири верны.

Идет жатва смерти. Мрачная ирония никак не перекрывает убедительность оружия. Если дело дошло до этого: гири верны.

Он играет услугами полулюдей.

Так это он играет, а не им играют Троцкий или Бухарин. Так должен был воспринимать Сталин.

И, наконец, последние две строчки:

Что ни казнь у него, то малина.  
И широкая грудь осетина.

Последняя строчка кажется слишком неожиданной, даже по-детски неумелой. При чем тут осетин? Но это только на первый взгляд. На самом деле двоякое содержание стихотворения — ужас и неодолимая сила — окончательно выплеснулось в последней строке.

Широкая грудь — это неодолимая, победная сила, уже заслонившая горизонт. Осетина! — как бы выкрикивается, поэт как бы чувствует, что на этом слове в него выстрелят. Нация, конечно, тут ни при чем. Срывается маска самозванства. В этом разоблачительная энергия последнего слова... отчаянье и какая-то детскость, конечно. Словно Красная Шапочка уже из пасти волка кричит: «Ты не бабушка!»

Думаю, что Сталину в целом это стихотворение должно было понравиться. А кем его будут считать, осетином или грузином, его вообще не очень волновало, я думаю. Тогда Стихотворение выражало ужас и неодолимую силу Сталина. Именно это он внушал и хотел внушить стране. Стихотворение доказывало, что цель достигается и это приятно, но...

Публиковать его, конечно, нельзя. Оставить без внимания тоже. В НКВД о нем знают. Ягода возмущался. Но читал наизусть. Много на себя берет. Оставить стихи без внимания — кое-кто поймет как слабость Сталина. Нельзя. Вот если Мандельштам в будущем напишет стихотворение о Сталине, внушающее ужас перед неодолимой силой Сталина, но написанное нашим, приличным, революционным языком... Посмотрим.

Отсюда, я думаю, резолюция: изолировать, но сохранить. Сравнительно мирная первая ссылка. Думаю, позже он о нем вообще забыл, тем более, что цель была достигнута полностью. Страна после тридцать седьмого года оцепенела даже с избытком. Чтобы слегка растормошить ее, пришлось некоторое количество осужденных выпустить и, наоборот, расстрелять Ежова. Тоже много на себя брал.

Дальнейшие годы Мандельштама до гибели в лагере: судороги страха, неуклюжие попытки сдаться на милость, взрывы гордыни, нежность, проклятья, безумье. Вот из воронежской тетради:

И в яму, в бородавчатую темь  
Скольжу к обледенелой водочачке,  
И, задыхаясь, мертвый воздух ем,  
И разлетаются грачи в горячке.

Куда слетаются грачи? Почему разлетаются? Потому что упавший шевельнулся? В стихах что-то от безумных пейзажей Ван Гога. Но безу-

мие Ван Гога — это личная драма. Безумие Мандельштама — дело рук, тех самых рук брадобрея.

Протест Ахматовой, можно сказать, добрался до филологических корней. Если стиль ее рассматривать вне контекста эпохи, вне ее духовного пафоса, может показаться недостаточно гибкой ее ложноклассическая окаменелость. Так оно и есть в самом деле. Но ее ледяная, даже вне политических стихов, стилистическая застылость молча кричит: «Вас нет! Я продолжаю пушкинскую эпоху».

И опять Европа в помощь России. Там были все варианты нашей истории, но не так густо и в разбросе по разным странам. Стихотворение «Данте». Воспевая его крутой, его непреклонный средневековый затылок, не бросает ли она горестный упрек сломленным сынам России? Учитесь! Таким должен быть мужчина!

Он и после смерти не вернулся  
В старую Флоренцию свою.  
Этот, уходя, не оглянулся,  
Этому я эту песнь пою.  
Факел, ночь, последнее объятие,  
За порогом дикий вопль судьбы.  
Он из ада ей послал проклятье  
И в раю не мог ее забыть,—  
Но босой, в рубахе покаянной,  
Со свечой зажженной не прошел  
По своей Флоренции желанной,  
Вероломной, низкой, долгожданной...

В стихах «Поэты» Александр Блок выразил вечное, классическое отношение поэта к действительности.

Ты будешь доволен собой и женой,  
Своей конституцией куцой.  
А вот у поэта — всемирный запой,  
И мало ему конституций!

Блок здесь, конечно, смеется над обывателем, но гений его ухватил нечто гораздо более важное и глубокое. Первые две строчки — программа государства. Вторые две строчки — программа поэта.

Государство должно стремиться к тому, чтобы среди его граждан было как можно больше людей, довольных собой, и женой, и своей конституцией, даже пусть куцей. А поэт должен стремиться к всемирному запою, то есть к беспределу этических требований к миру.

Только в параллельности этих двух задач, в их жизненной неслиян-

ности — залог нормальной жизни народа. Только не сливаясь в жизни, задача государства и задача поэта сливаются в духе.

Чем больше в народе людей, довольных собой и женой, тем вольней поэту выражать свое несогласие с этим, и в высшем смысле его предназначение в удерживании общества от самодовольства.

После революции в России все перевернулось. Поэты, ужаснувшись окружающему хаосу, стали призывать к государственной трезвости. Молодой Мандельштам:

Но жертвы не хотят слепые небеса:  
Вернее труд и постоянство.

А вчерашние подпольщики, замиравшие при виде полицейского, вдруг стали хозяевами всей страны. И они опьянели от власти, и стали безумными поэтами власти. Психологически их можно понять: если случилось это, то есть захват власти, то почему же не получится все остальное?

В сущности, с определенной точки зрения все призывы нашего государства к народу — это попытка превратить всех людей в поэтов. И угрозы и поощрения сводились к этому. Если б это было возможно, если бы народ, презрев хлеб насущный, мог бы жить, как настоящий поэт, энтузиазмом и вдохновением, вероятно, можно было бы и коммунизм построить.

Но такого народа никогда не было и не будет. У народа своя великая генетическая задача — улучшать условия своего самосохранения. Этот инстинкт в нашем народе серьезно поврежден, но я уверен, что выздоровление еще возможно. Тихому буддийскому самоубийству народа на просторах России приходит конец. Даже его излишняя раздраженность — признак того, что он жив и хочет жить.

Но какой же поэтический, он же графоманский, размах в мечтах государства: мировая революция, сплошная коллективизация, электрификация, чекизация и уже в наши дни — пьяная мечта одним махом покончить с пьянством. Бешенство мечты.

Легко заподозрить, что такое воспаление мечты вызвано подсознательным страхом бессилия перед реальностью. Строитель, не умеющий построить курятник, объявляет, что он будет строить сказочный дворец, где будет место и курятнику. Таким образом, ответственность за конечный результат отодвигается в бесконечность.

В этих условиях лучшие наши писатели взяли на себя непосильное бремя отрезвления власти: от иронии над безмерным пафосом будущего до жалости к человеку, задавленному государственной мечтой.

Власти на этот отрезвляющий голос отвечали в лучшем случае през-

рительным упреком в обывательской ограниченности (они же поэты), а в худшем известно как. Поющая диктатура обладала необыкновенным авторским самолюбием и была изрядно вспыльчива, особенно в молодости.

Сегодня обрушилась крыша над нашей головой, и некоторые удивляются, как она так легко обрушилась. Хотя достойно гораздо большего удивления, что она так долго могла продержаться.

Никто не знает, что будет завтра. И оттого сегодня в народе неуверенность, злоба, раздражение, трясучка. Воздушные поцелуи публицистов в сторону демократии слишком затянулись. Ситуация почти семейная. Сын хочет жениться на демократии, а мама-партия против: «Она плохая. Она торгуется».

Сыну ничего не остается, как решить вопрос в явочном порядке и сказать родительнице: «Мама, она беременна. Я как порядочный человек и сын порядочных родителей...»

Небольшое лукавство не помешает. Короче, Россия должна забеременеть демократией. И когда народ поймет, что это уже случилось, он успокоится. Одни успокоятся в ожидании лучших дней, другие в злорадном ожидании недоноска. Но и те, и другие успокоятся.

Демократия есть разделение властей. Власть над духом должна быть возвращена искусству. Псевдопоэтическая размашистость наших правителей всегда оборачивалась уходом от живой жизни, дезертирством в будущее.

Но представим и мы далекое будущее. Помечтаем, как учил Ленин. На проселочной дороге (в будущем это возможно) вдруг встречаются поэт и правитель. Их знакомят.

— А разве людьми еще правят? — удивляется поэт не то в шутку, не то всерьез.

— А разве стихи еще пишут? — удивляется правитель, скорее всерьез, чем в шутку.

И они, улыбнувшись друг другу, расходятся. И поэта вдруг охватывает грусть. Он вспоминает родину ленинских и сталинских времен. И душу его обволакивает ностальгическая тоска. Конечно, было страшно. Но какая жизнь! Какие страсти! Как интересно писать стихи, рискуя жизнью! Какие письма получали поэты! В мире не может быть лучшего доказательства подлинности вдохновения, если его не останавливает даже страх смерти! За стихи убивали. Значит, тираны признавали поэтов своими соперниками? А как же закон, что поэт не отвечает за свои стихи, как за свои сновиденья? Ах, да! Тогда даже еще не было такого закона. Боже, Боже, как измельчала жизнь! Как я ограблен!

Оставим поэта будущего. Пусть погрузит. Это его профессия. У нас впервые появился шанс, когда каждый в стране будет заниматься



своим делом. И поэт, наконец, покинет государственный департамент оппозиции. Там он подписывал коллективные письма в защиту Акакия Акакиевича. Там он собирал в складчину деньги на новую шинель, ибо старая в очередной раз сорвана с податливых плеч Акакия Акакиевича. Господа, сколько можно? А что если не защищать его, а помочь ему полюбить жизнь, и тогда он сам защитит свою шинель?

Прощай, диктатура! Пусть каждый займется своим делом. Пусть поэт постарается продолжить поэзию с того места, где она остановилась. А где она остановилась? Как где?!

Мороз и солнце — день чудесный!

## ПАСТЕРНАК И ЭТИКА ЯСНОСТИ В ИСКУССТВЕ

Помнится, школьником, роясь в груди книг, разбросанных на стойке сухумского букиниста, я вытащил книжку стихов с именем Пастернака на обложке. Имя мне ничего не говорило. Я уже собирался положить книгу на место, но тут старый букинист сказал:

— Берите, не пожалеете. Это современный классик.

Я тогда абсолютно не верил, что классик может быть современным. Но то ли для того, чтобы не обижать букиниста, то ли для того, чтобы показать ему, что я и сам разбираюсь в стихах, листанул книгу. Я впервые прочел стихотворение «Ледоход». Впечатление было ошеломляющее и странное. Оно даже не казалось мне поэтическим. Скорее, это было ощущение физического наслаждения, только с огромным избытком. Как будто в жаркий летний день я ловлю ртом лимонадный водопад. И вкусно, и слишком много.

Конечно, я купил эту книгу. Чуть позже, в студенческие времена, я доставал все его книги, которые были изданы к тому послевоенному времени. Я уже знал, что Борис Пастернак — поэт, не слишком угодный властям, что его подолгу не издавали, а еще раньше много ругали. В мое студенческое время его почти не трогали, во всяком случае, я не помню статей, написанных против него. Можно подумать, что тогда обе стороны объявили перемирие и набирались сил, готовясь к грандиозному скандалу появления романа «Доктор Живаго». Но тогда до этого было далеко и никто об этом ничего не знал.

Как-то с одним приятелем, таким же, как и я, а может, еще большим любителем поэзии Пастернака, я заговорил о сюжете поэмы «Спекторский».

— А разве там есть сюжет? — спросил он у меня удивленно.

Я удивился его удивлению, потому что он любил эту поэму и часто цитировал ее. Да и как можно было не захлебнуться такими строчками:

Какая рань! В часы утра такие,  
Стихиям четырем открывши грудь,  
Лихие игроки, фехтуя кием,



Еще в девятнадцатом году Пастернак написал знаменитое стихотворение «Шекспир». В трактире Шекспира настагает призрак его собственного сонета. Шекспир взят Пастернаком, по-видимому, в качестве идеального художника, которого мучает извечный вопрос: для кого писать? Призрак сонета иронически советует своему создателю:

«Простите, отец мой, за мой скептицизм  
Сыновний, но, сэр, но, милорд,  
    мы — в трактире.  
Что мне в вашем круге?  
    Что ваши птенцы  
Пред плещущей чернью?  
    Мне хочется шири!  
Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?  
Во имя всех гильдий и биллей!  
    Пять ярдов —  
И вы с ним в бильярдной,  
    и там — не пойму,  
Чем вам не успех  
    популярность в бильярдной?»  
— Ему?! Ты сбесился? —  
    И кличет слугу,  
И, нервно играя малаговой веткой,  
Считает: полпинты,  
    французский рагу, —  
И в дверь,  
запустя в привиденье салфеткой.

Шекспир разгневан, но у него нет аргумента. Салфетка, брошенная разъяренным Шекспиром в призрак сонета, даже для призрака слишком слабое оружие. Можно сказать, что Шекспир не только уходит от ответа, но даже убегает — в дверь!

Конечно, это стихотворение отчасти и попытка самооправдания Пастернака. Сонет, он же Муза, внушает поэту, что он не должен думать ни о каком читателе. Еще до приведенной цитаты сонет признается, что он «выше по касте, чем люди», и потому искусство вообще неподотчетно людям. А если поэт хочет быть понятым читателем, то где же граница между читателем и невеждой? Тогда пусть и бильярдный шулер аплодирует поэту.

В иронической логике сонета хоть и содержится некоторая доля утешительной правды, однако есть в ней и более глубоко затаенная неправда, скорее всего вызвавшая взрыв гнева. Можно догадываться, что Шекспир не только убегает от невыносимой насмешки сонета, но убегает

ет, чтобы додумать мучительный вопрос: как писать? Чтобы при этом искусство оставалось искусством, этот поэт — этим поэтом и одновременно быть доступным читателю.

Должно было пройти много невероятных трагических лет, чтобы Пастернак, сохранив свой неповторимый голос и мелодическую одаренность, пришел к ясным, прозрачным стихам.

Неясность, или смутно мерцающий смысл, в ранней и не слишком ранней поэзии Пастернака, мне кажется, объясняется двумя по крайней мере причинами. Пастернак, безусловно, разделял культ крайнего художественного субъективизма, который во времена его молодости господствовал в России и в Европе. Этот культ позже высмеял Ходасевич в гениальных стихах «Жив Бог! Умен, а не заумен...»

Кроме того, я думаю, его высокая, чисто музыкальная одаренность сыграла свою роль.

Как известно, в юности Пастернак готовил себя в профессиональные музыканты, и его первые опыты были одобрены самим Скрябиным. Но он бросил музыку из-за какой-то мистической сверхчестности.

У него не было абсолютного слуха, в чем он и признался Скрябину. Утешение Скрябина, не остановило его. Безумно любя музыку Скрябина, он ждал, что Скрябин назовет себя. У Скрябина тоже не было абсолютного слуха. По-видимому, абсолютный слух только у Бога и у настройщиков роялей.

Одним словом, юный Пастернак бросил музыку, но, я думаю, музыка его не бросила. Я думаю, вдохновение поэта часто бывало музыкально-поэтического происхождения с преимуществом в отдельных стихах в ту или иную сторону. Я думаю, самые невнятные его стихи — преимущественно музыкального происхождения, и слова тут играют роль мелодических обрывков, а сам смысл соединяющихся слов достаточно второстепенен, если он есть вообще.

Я думаю, стремление к ясности естественно присуще искусству слова. Эта ясность устанавливается бессознательно, она есть заочное продолжение очной культуры общения. Подобно тому, как мы соразмеряем свой голос с расстоянием, на котором от нас находится собеседник, подобно тому, как мы, указывая собеседнику на какой-то далекий предмет, исходим из того, что сила его зрения позволит ему разглядеть этот предмет, подобно тому, как мать, отпуская ребенка, делающего первые шаги, интуитивно определяет, на сколько шагов его можно отпустить, чтобы успеть подхватить его, когда он будет падать, — так и в искусстве чувство читателя, чувство собеседника определяет нормальную речь художника, заставляя его избегать неуважительных длиннот и столь же неуважительной конспективности.

Зрелое творчество предполагает, даже если писатель об этом и не задумывается в минуты творческого озарения, любовь и уважение к далекому собеседнику.

Талант художественного произведения в конечном счете есть способность контактировать с читателем. Силу таланта определяет количество контактных точек на единицу художественной площади.

Если художник хочет уйти от людей, если он славит полное одиночество, то это только означает, что он угадал такое же желание своего читателя. И «блаженное, бессмысленное слово» имеет право на существование только в том смысле, что отражает желание читателя (вполне человеческое) погрузиться хотя бы на миг в блаженную бессмысленность, психически отдохнуть.

Дуновение духа выстраивает слова в художественном порядке, а не слова порождают дуновение духа, как это иногда кажется писателю. Наличие паруса никак не порождает ветер, но наличие ветра породило мысль о создании паруса. Мы не знаем, кто создал Слово, но, кто бы его ни создал, он знал, что дух уже есть.

Мне кажется, знаменитое изречение Евангелия от Иоанна многими писателями толкуется произвольно. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово было Бог — только метафора, означающая, что Слово — наиважнейшее творение Бога. Так, мать, покидая дом, полный детей, говорит старшей дочке: ты здесь будешь за меня, пока меня нет. А что, если мать слишком долго не возвращается?..

Там, где истинный Бог убит, Слово превращается в бога-самозванца. Так происходит в материалистическом обществе. И потому пропаганде, то есть Слову, там придется огромное значение. И пропаганда сначала имеет большие успехи, пока люди, оглянувшись на свои дела, не догадываются, что Слово было мертво, что правил ими не Бог, а самозванец.

Художник пишет, чтобы понять себя, но правильно ли он понял себя — в конечном итоге определяет дружеский или радостный кивок читателя, как бы говорящий:

— Да, да, это именно так, а не иначе.

Главное удовольствие от искусства, которое мы испытываем, — это радость узнавания. Писатель, который прочел в глазах у читателя радость узнавания своего искусства, сам превращается в благодарного читателя души своего собеседника. В этом великий объединяющий смысл искусства, и если бы даже это объединение ограничивалось только взаимным утешением, этого было бы достаточно. Ничто живое так не нуждается в утешении, как человек.

Поэт может увидеть во сне копну сена и испытать ужас бессмысленности существования. Но читатель его поймет только в том случае, если он через образ, которого не было во сне, намекнет ему на причину своего ужаса. Чтобы стихотворение на эту тему дошло до читателя, поэт должен наяву пересмотреть свой сон и уже вставить, скажем, женскую

гребенку в головообразную копну сена. Поэт, увидевший этот сон и желающий быть точным в передаче сна, может возразить:

— Мой сон означал не потерю любимой, а потерю смысла жизни.

Но тут если не мы, то божественный цензор должен сказать:

— Потеря любимой — это тоже потеря смысла жизни. Или ты принимаешь этот вариант, или выбрасываешь свое стихотворение. Мы не можем превратить искусство в разговор глухонемых.

Разумеется, этот голос должен услышать сам поэт, и сам он должен добровольно ему последовать, что, к сожалению, далеко не всегда случается. Не напряжение ума, а волна этического напряжения выносит читателя к замыслу автора. Конечно, в это время разум не спит, а включается в работу души. Само собой разумеется, что и читатель должен быть подготовлен к этому акту.

Мы говорим — в искусстве должна быть тайна. Но это тайна соприкосновения с вечностью, а не секрет изоциренного мастера. Чем яснее искусство, тем ощутимей соприкосновение с этой тайной.

Случается, что мы с первого чтения не улавливаем мысль поэта. Так что перед нами: шарада или неожиданный для нас новый, глубокий взгляд на жизнь?

Если перед нами действительно настоящая поэзия, то перечитывание стихотворения не только не снижает нашего эмоционального отношения к нему, а, наоборот, усиливает. Но если мы еще не поняли смысла стихотворения, как мы определяем, что это все-таки искусство, а не шарада? Опыт и чутье подсказывают нам доверие к правдивости его интонации. Увлеченные музыкальной правдивостью интонации, мы наконец открываем смысл трудного для восприятия стихотворения. Но такое бывает сравнительно редко.

Странно устроен человек. Почти каждый ведает, что понятие «честный человек» гораздо содержательней и богаче, гораздо существенней, чем понятие «умный человек». То есть, грубо говоря, быть честным умней, чем быть умным. Однако на практике человек весьма активно старается казаться умным и гораздо более умеренно старается казаться честным.

Комбинацию умственных сил, приводящую к выгоде, мы склонны именовать умным поступком. Комбинацию умственных сил, иногда более дальновидную и тонкую, приводящую к справедливому решению, мы склонны именовать только проявлением честности, хотя в этом решении было гораздо больше ума, чем в первом случае. Дело дошло до того, что в честном человеке иногда подразумевается некоторая умственная отсталость.

Короче, что бы мы ни говорили, цивилизация двадцатого века, дробя и специализируя человека, атомизируя его существование, во многом распотрошила цельное представление о ценности человека как гармоническом сочетании умственных и этических способностей. Общая дина-

мика жизни привела к тому, что веку стало некогда возиться с душой человека и он выработал формулу: «Мне неважно, кто ты такой. Важно — что ты умеешь».

Умение стало простейшей формой проявления и признания ума. И это коснулось искусства. Безудержный культ формы, культ самовитого слова, стремление во что бы то ни стало быть ни на кого не похожим охватило многих художников. Непонятность стала признаком оригинальности, ничем не доказанная оригинальность — признаком доказанного ума и таланта.

Стремление к тотальному обновлению искусства перед революцией сотрясало русскую литературу. Оно частично деформировало и такие большие таланты, как Маяковский и Пастернак. Правда, в отличие от Маяковского Пастернак никогда не отрицал традиции, но многие его ранние стихи подпорчены манерностью, хотя и там истинный талант прорывался сквозь баррикады художественной революционности.

Долгий путь послереволюционного развития таланта Пастернака действительно привел его к неслыханной простоте. Немыслимые страдания Родины, которые всегда были и его собственными страданиями, в конце концов укротили в христианском смысле буйство и неоглядчивую субъективность его творческой фантазии. Кровавый хаос окружающей жизни делал бестактным хаос буйствующих метафор. Хотя я несколько упрощаю, но думаю, что движение стиля шло именно в этом направлении. Словесная живопись молодого Пастернака, близкая импрессионизму, совершенно изменилась.

Лбы молящихся, ризы  
И старух шушуны  
Свечек пламенем снизу  
Слабо озарены.

Это скорее напоминает Рембрандта. Романтические водопады музыки ранних стихов сменились тихим журчанием подмосковных ручьев или глубоким однообразием церковной музыки.

Есть любители стихов, которым ранний Пастернак кажется интересней. И в этом — доля истины. Развитие стиля и творческая победа не бывают без потерь. В поздних стихах поэта мы не встретим ураганных ритмов, головокружительных образов, захлебывающихся импровизаций.

На это можно сказать, что мудрость позднего Пастернака, как и всякая мудрость, не нуждается в напряжении голосовых связок.

Поэт прорубился к своему большому читателю. Благородство силы в чувстве равенства со слабым. И это единственное условие, при котором слабый может полюбить и, распрямляясь, дотягиваться до уровня духовной силы.



## СОДЕРЖАНИЕ

Письмо друзьям . . . . .	3
Человек идеологизированный . . . . .	23
Поэты и цари . . . . .	36
Пастернак и этика ясности в искусстве . . . . .	57

ИСКАНДЕР Фазиль Абдулович

ПОЭТЫ И ЦАРИ

Редактор И. И. Мильштейн

Технический редактор Е. А. Колесникова

---

Сдано в набор 19.06.91. Подписано к печати 15.07.91. Формат 70 × 108<sup>1/2</sup>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать.  
Усл. печ. л. 2,80. Усл. кр.-отт. 2,98. Уч.-изд. л. 4,23.  
Тираж 89000 экз. Зак. № 617. Цена 25 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени  
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП,  
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.